

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Исторический факультет

Котов П.Л.

**Становление общественно–философских взглядов А.А. Григорьева
(опыт историко–психологической биографии)**

Раздел 07.00.00. – исторические науки

Специальность 07.00.02. – отечественная история

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук

Научный руководитель
кандидат исторических наук, доцент
Левандовский А.А.

Москва 2003 год



Аполлон Григорьев
1822 - 1864

Чувство не обманывает;
обманывает составленное по нему суждение.

Гете.

– Помнишь, в корпусе тебя звали Шиллером?
Какой ты был тогда худой, идеальный! С такими
задумчивыми глазами! Куда ты их дел?

– Пропил, братец, в зелене-вине утопил...

Ковалевский П. «Непрактические люди».

Оглавление.

Введение.....	1
Глава 1. Первая печаль (1822 – 1838).....	21
Глава 2. Западня тщеславия (1838 – 1843).....	40
Глава 3. Блуждания (1844 – 1850).....	63
Глава 4. Своя пристань (1850 – 1857).....	85
Глава 5. Небеззаботные скитания (1857 – 1864).....	107
Заключение.....	165
Примечания.....	174
Источники и литература.....	186

Введение.

Аполлон Григорьев – фигура слабо изученная. Хотя проблема поставлена давно: он самый яркий из разночинцев – *недемократов*. Его судьба вообще нетипична для поколения интеллигентов шестидесятых годов. «В интеллигентский лубок, – пишет о Григорьеве Александр Блок, – он не попадает; слишком своеобразен; в жизни его трудно выискать черты интеллигентских «житий»; пострадал он, но не от «правительства» (не взирая на все свое свободолюбие), а от себя самого; за границу бегал, – тоже по собственной воле; терпел голод и лишения, но не за «идеи» (в кавычках); умер, как все, но не оттого, что был «честен» (в кавычках); был, наконец, и «критиком», но при этом сам обладал даром художественного творчества и понимания; и решительно никогда не склонялся к тому, что «сапоги выше Шекспира», как это принято делать (прямо или косвенно) в русской критике»¹. Явно проступающее раздражение Блока на левых – тоже характерно: вокруг Григорьева слишком много публицистики, эмоций, мало анализа. Он говорит, что «в судьбе Григорьева, сколь она ни человечна (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души. Душа Григорьева связана с «глубинами», хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Соловьева... Григорьев слышал, хотя и смутно, *далекий зов*; он был *действительно* одолеваем бесами; он говорил о каких-то *чудесах*, и тоска и восторги его были связаны *не с одною* его маленькой, пьяной человеческой душой»².

Анализ обходит памятью таких людей, чтобы лишний раз не компрометировать себя.

Практически до начала XX века большинство авторов было уверено: Григорьев «создавал философское самоуглубление в бесплодное искажение того, чего нет»³. Без сомнения он – натура пылкая, честная, но запутавшаяся в себе самом. Его естество «заключало в себе много неопреде-

ленного, неясного, трудно–удовлетворяемого и потому склонного к религиозному мистицизму, отворачивающемся от всего реального и за то тем легче отдающемся трудно–удовлетворяемому идеализму, переходящему в мечтательность»⁴. Ему надо было перебороть себя, стать человеком действия, открыть в себе «политическую жилку», но он пошел другим путем – и утратил для общества всякое значение. Более того, он не смог даже четко сформулировать свои чудаковатые идеи: всем понятно, что он «последний могикан того злополучного направления, которое породило славянофильство, не сделавшее для живого русского духа ничего действительно полезного», но когда речь заходит о его конкретных идеях – выходит что–то «вроде фотографий духов теперешних спиритов»⁵ (6, 48, 49, 66, 67, 121, 123, 130, 145, 146, 147, 151, 152, 218).

«Каковы бы ни были высокие достоинства ваших *личностей*, – ответил Д. Писарев на воспоминания Н. Страхова о Григорьеве, – во всяком случае достоверно то, что ваши идеи негодны для общества»⁶.

С другой стороны, выступления сторонников Аполлона Григорьева часто выглядят не только необъективными, но и просто нелепыми (3, 4, 5, 30, 71, 72, 73, 94, 141, 164, 165, 188, 197). Апологетическая традиция, заложенная Страховым, говорит, что Григорьев был «зрячее других», что «его письма читались в редакции «Времени» вслух для общего назидания», что сочинения критика «представляют целые громады мыслей» и что они дают «неистощимую пищу»⁷. А один из его восторженных последователей – Д. Аверкиев – пишет даже о его особенной «конгениальности», чутье позволяющем проникать в самую сущность общественных вопросов. «Ему надо было живьем прочувствовать, полюбить всею душою и всем сердцем, постигнуть не букву, а самую суть дела»⁸. В конце концов он провозглашает, что метод Григорьева единственно возможный для научной критики⁹.

«О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги; не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует.

Для библиографии Григорьева, которая могла бы составить порядочную книгу, не сделано почти ничего. Где большая часть рукописей – неизвестно», – это написано Блоком в 1915 году¹⁰. Справедливости ради надо сказать, что для 1915 года это не совсем точное утверждение.

Культура Серебряного века в борьбе с утилитарным подходом к искусству не могла не обратить внимание на пылкого оппонента Писарева, Добролюбова и Чернышевского. К 1915 году уже написаны статьи А. Волынского (43, 44, 45), А. Александрова (11, 12), П. Сакулина (185), В. Княжнина (112), В. Розанова (174, 175, 176), В. Спиридонова (191, 192, 193, 197). Особенно выделяется работа Л. Гроссмана «Основатель новой критики», опубликованная зимой 1914 года в «Русской мысли» (76). В ней очевидна модернизация: Григорьев представлен как предшественник интуитивизма А. Бергсона и антирационализма Г. Зиммеля. Тон статьи боевой и заразный. «Его журнальные статьи открывают такие широкие пути в будущее, – провозглашает автор, – что только в наши дни, полстолетия спустя по их напечатании, руководящие идеи его осмеянных страниц во многом совпадают с последним словом умственных достижений современности»¹¹! После таких публикаций общество обратило внимание на потерявшегося в истории русской литературы «критика–самобытника» (1, 9, 37, 38, 81, 82, 91, 106, 122, 160, 163, 181, 216). Начинается публикация григорьевских статей, перечитываются старые (142) и пишутся новые (183, 198, 212). биографические очерки. Правда историограф А. Бем (24) замечает на их счет, что они оставляют впечатление «пересказа довольно тяжелым языком частью воспоминаний Григорьева, частью немногочисленных общеизвестных фактов его жизни. Недостает внутреннего напряжения, внутреннего постижения личности Григорьева в его индивидуальном своеобразии»¹².

Надо оговориться, что среди всего этого есть биографический очерк, принадлежащий В. Спиридонову (195). Он был написан для готовящегося издания полного собрания сочинений и писем Григорьева в 1918 году. На

наш взгляд, это лучшее, что могло быть когда-либо написано о нашем герое. К сожалению, работа была прервана в самом начале, очерк оказался незавершенным. Но и из того, что было опубликовано, видно, что по глубине, научной объективности и изяществу работа должна была быть выдающейся. И именно В.С. Спиридонову мы обязаны идеей представить Григорьева как человека, в первую очередь, *страдающего*.

Бурные события 1917 года не стимулировали интерес к демократическому мистицизму. Плоды исследований, начатых еще до революции, появились уже в двадцатые годы. Эти работы (114, 140, 180, 184) подготовили почву, на которой смог появиться труд Р.И. Иванова –Разумника (103) – сборник воспоминаний о Григорьеве с комментариями и первым научным очерком его деятельности. Главная заслуга Иванова–Разумника носит методологический характер: он обосновал тезис о том, что «писателя более автобиографичного, чем Аполлон Григорьев – быть может нет во всей русской литературе»¹³: то есть, что все наследие критика (и стихотворения, и критика, и проза, и переписка) может рассматриваться как единый текст. С другой стороны, жизнь Григорьева он представил как «скитальчество, бродяжничество, кочевничество, физическое и духовное, литературное нравственное»¹⁴, определив мозаичное распадение образа Аполлона Григорьева в последующих работах.

Постепенная идеологизация науки, конечно, в первую очередь касалась именно таких персонажей, как Григорьев. В 1929 году в журнале «Звезда» появляется статья В. Лейкиной «Реакционная демократия 60 –х годов» (128). «Неясность, противоречивость для них самих, – пишет В. Лейкина о круге Григорьева, – их классовой установки, непонимание, кого они поддерживают, воздушная иррациональная надстройка, тянущаяся к почве, к народности, национализму, к чему-то твердому и прочному – все это характерные черты узкого слоя гуманитарной интеллигенции, одиночек, индивидуалистов, отталкивающихся от рядовых «вульгарных форм» прогрессивного движения, от «утилитаризма» и льнущих к близкой им

пассивной общественной группе, импонирующей им твердостью идеологии»¹⁵. И ведь это пусть негативный, но, в принципе, социологически верный портрет. Но то, в каких формулировках он изображается надолго ставит крест на личности Григорьева, как на прообразе соглашальско–реакционно–демократствующей интеллигенции¹⁶. С этих пор Григорьев – только литературный противник Чернышевского и Добролюбова (26, 27, 79, 118, 202).

Только вместе с «оттепелью» возобновился интерес к нашему герою. С тех пор написано более сотни разнообразных *статей*. О них мы и поговорим.

У Григорьева есть три магистральные идеи: критика рационализма; признание самобытности каждого народа (и в том, и в другом случае связанные с критикой гегельянства); неприятие утилитарного и эстетического подхода к литературе. Так повелось, что философы в основном пишут про первое (1, 2, 13, 14, 15, 16, 22, 206, 208), историки про второе (96, 116, 131, 153, 155), а филологи, соответственно, про третье (7, 8, 18, 19, 31, 33, 41, 42, 50–60, 62 – 65, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 93, 98, 101, 102, 107, 109, 115, 124–127, 133–139, 158, 159, 170, 171, 172, 177, 179, 190, 199, 209). И когда речь идет об этих магистралях – все четко и понятно. Но как только начинается более подробный анализ составляющих и окружающих эти магистрали категорий – получается неразбериха. Вот критика рационализма: центр в ней составляет противопоставление понятий «жизнь» – «теория». Понятно, что теория – рационалистический взгляд на действительность. Но что такое «жизнь»? Пишут: «Безграничный, вечный, неисчерпаемый феномен»¹⁷. Но это ничего не проясняет. Не выражает (или выражает неполно) внутреннее состояние нашего героя. Это определение слишком общо и элементарно: не мог столь сложный человек всю свою трагичную, мятущуюся и увязающую в сомнениях жизнь построить на вере в очевидное – что трава зеленая, а небо синее.

В чем причина упрощения? «Он не давал четких дефиниций, – совершенно справедливо замечают те же авторы, – по его мнению, «определение вообще должно только дать почувствовать всем изложением дела». Вследствие этого изложение Григорьевым своих взглядов весьма своеобразно; оно не систематично, дано в связи с литературной критикой, а также в письмах. Более того, А. Григорьев не был философом в академическом понимании этого слова; его философские, исторические, общественно–политические взгляды вплетены в ткань его рассуждений об искусстве, литературе, национальной культуре. Это затрудняет задачи исследования творчества Григорьева, ставит перед ним своеобразные требования реконструкции концепции»¹⁸. Иными словами, не хватает контекста для выяснения значения категорий. Авторы статей, как правило, идут двумя путями: или перелагают определения самого Григорьева (как в вышеприведенном примере), которые сами же считают туманными, либо наполняют их собственным содержанием в соответствии со своим здравым смыслом – что приводит, как правило, к модернизации. И таких «непрочтений» много, они касаются таких понятий как «идеал»; «народный идеал»; «коренные начала»; «тип»; «смирность» и «хищность»; «почва»; «дух» и т. д. Они нуждаются в конкретном смысловом наполнении.

Надо заметить, что подход большинства исследователей к источникам, на наш взгляд, слишком аналитичен. «Дело в том, – пишет С. Носов, один из главных специалистов по Григорьеву, – что мировоззрение Григорьева, каким оно раскрывается в его переписке, не всегда точно и полно отражалось в его стихах и далеко не всегда совпадало с основными идеями его критических статей. Существовало как будто два Григорьева: один – талантливый критик и публицист, создатель теории «органической критики», поклонник и проводник созерцательного «вечного идеала», полноты и цельности жизни; другой – не примирившийся с тягостной ношей своей очень русской и очень тяжелой, физически и нравственно, жизни, бунтарь

и поэт, отчаянно бьющийся над разрешением «проклятых вопросов бытия», впечатлительный, нервный, измученный тоской «по идеалу»¹⁹.

Такое дробление источников приводит к «умножению сущностей» Григорьева. Он и «мистик, и атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый, честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый противник, страстный фанатик убеждения...»²⁰. За деревьями постепенно становится не видно леса.

Учитывая все вышесказанное, представляется уместным попробовать расширить контекст. Расширить, во-первых, хронологически: авторы статей в основном работают с материалами последних десяти лет жизни Григорьева. Нам кажется, что определение истоков тех или иных идей и образов поможет сформировать более четкое о них представление. Во-вторых, нужно ввести контекст психологический: опыт показал, что многие идеи Григорьева могут быть объяснены только из фактов его внутренней жизни. Иными словами, надо сделать историко-психологическую биографию, в которой все идеи Григорьева рассматривались бы в динамике, рассматривались как единое мировоззрение (без изоляции в пределах истории, филологии и т. д.) при трактовке всего литературного наследия Григорьева как единого текста.

Теперь же поговорим о тех биографиях, которые уже написаны.

В 1970-м году появилась первая научная биография Григорьева. Ее написал американский ученый Р. Виттакер, и называлась она «Аполлон Григорьев – последний русский романтик» (40). Уже из названия понятно, что эта работа филологическая. «Григорьев, – пишет Виттакер, – был романтиком в том смысле, что его взгляды отвечали воззрениям европейских критиков романтического толка... он исповедовал все патентованные принципы романтизма: абсолютные идеалы, национальную самобытность, искусство как высшую форму выражения и познания»²¹. Но в то же время, он – эпигон и «переходная фигура», и поэтому у него проявляются «неко-

торые реалистические черты: понимание психологии, общепринятые, а не исключительные привычки, он не чужд обычных страхов и опасений»²². Если даже не останавливаться на весьма своеобразных признаках реализма, то нельзя не отметить отсутствие интереса автора к психологии своего персонажа. Григорьев у Виттакера – одно сознание: по своей воле он переходит от идеи к идее, и это движение расчисленно и логично. Автор надевает на героя различные идеологические колпаки, представляя его носителем какого-либо определенного интеллектуального набора, манкируя индивидуальными особенностями. Очень забавны в этом смысле его рассуждения о воспоминаниях критика. Григорьевские «Литературные и нравственные скитальчества» описывают детство в Замоскворечье – казалось бы, куда проще? Но Виттакер дает такое объяснение: «Григорьев избегал прямых упоминаний о незаконности своего рождения. Тем не менее, ненормальность его социального статуса со всей очевидностью сказывается в «Скитальчествах», где используется необычный прием объяснения классовой принадлежности в географических терминах. Григорьев полностью пересматривает культурную географию Москвы. Традиционно ее культурным центром считалась аристократическая часть города – та, что расположена северо-западнее Кремля, вдоль Тверской. «Скитальчества» обращены на южные, населенные низшими классами кварталы Москвы – Замоскворечье»²³. Одновременно автор подчеркивает: «Стремясь воссоздать атмосферу Москвы конца двадцатых – начала тридцатых годов, Григорьев входил <в воспоминаниях> в мелкие подробности, не представляющие сейчас какого-либо интереса»²⁴. Такая социологизация вообще характерна для зарубежных авторов (220 – 223).

Рассказывая об отъезде Григорьева в Оренбург в 1861 году, ученый поясняет: «Оренбург был выбран не без значения. Этот форпост среди киргизских степей, в полутора тысячах верст к юго-востоку от Москвы, служил воротами в Сибирь. И исторически, и географически он был так же далек от Москвы, как и от Петербурга»²⁵. Этот подход представляется из-

лишним усложнением. Так, в молодости, Григорьев тоже хотел уезжать в Оренбург: но для нас – это бытовое совпадение, а для Виттакера – уже структура, наделенная неким смыслом уже только потому, что она структура.

И нет ничего удивительного в том, что при таком подходе Григорьев превращается в эклектика, произвольно заимствующего разрозненные идеи из разных систем²⁶.

Своеобразен и общий очерк личности Григорьева. «Постоянное томительное ожидание проявлений полной непререкаемой власти – безразлично, была ли ее источником сила (дед. – *П.К.*) или слабость (отец. – *П.К.*), – стало обиходом григорьевской семьи. Дурное это наследство не миновало и самого критика, хотя в мемуарах нет ни одного намека на подобное свойство его натуры (?). Однако почти ничего не известно о том, какие причины привели к крушению его брака, или, иными словами, почему в начале пятидесятых он оставил жену и детей. Несомненно, виной тому были вещи посерьезнее, чем те обвинения в безнравственном и безответственном поведении, которые Григорьев предъявлял своей жене (?), тем паче, что ряд его друзей приняли ее сторону. Еще явственнее о деспотизме в характере Григорьева свидетельствует его отношение к собственным критическим статьям – его журналистский «догматизм». Он настаивал на том, чтобы ничья рука не касалась написанного им. Ни с одним редактором он так и не научился ладить: от Погодина в «Москвитянине» требовал полной автономии, с «Русским словом» порвал из-за изменений, внесенных редакцией в одну из его статей, а уйдя из «Времени», горько жаловался на Михаила Достоевского, не пропустившего упоминания им некоторых имен. Ф. Достоевский считал это отсутствием практического, политического ума – недостатком, обрекшим Григорьева-журналиста на неудачу. Факты, приводимые в «Скитальчествах», свидетельствуют, что склонность к самовластным поступкам была у него наследственной (?); именно из-за этой черты отвергал он – на пользу себе или во вред – любую форму ком-

промисса, если дело шло о его принципах или журнальной политике»²⁷. Мы можем здесь сказать только, что не согласны с таким портретом, что, на наш взгляд, он составлен на слишком малом количестве источников и противоречит многим свидетельствам. В работе мы постараемся убедить читателя, что личность Григорьева более сложна и далека от авторитарности.

В заключении еще два формальных замечания. Григорьев, считает ученый, никогда не был консерватором. Он «возможно повлиял на развитие русской консервативной мысли; верно также, что он с уважением относился к ряду консервативных мыслителей. Однако его антиправительственные (?), антигосударственные, антиаристократические убеждения и его склонность к протестам и парадоксам не позволяют причислять его к консерваторам»²⁸. Мы, напротив, считаем Григорьева консерватором, придерживаясь определения консерватизма, данного К. Мангеймом: для консерватора настоящее ценно настолько, насколько содержит в себе ценности прошлого, пусть даже в трансформированном, модернизированном виде.

Мы также не согласны с предлагаемой автором периодизацией. Виттакер выделяет «экспериментальный» этап (1842 – 1848); период разработки «логически последовательных принципов» (1848 – 1857); этап «упрочения принципов» (1857 – 1858); «зрелость» (1859 – 1864). Нам кажется, что такая периодизация не отражает особенностей духовной жизни Григорьева.

Первая отечественная биография (1990г.) принадлежит С.Н. Носову (154). Она называется «Аполлон Григорьев. Судьба и творчество». Автор тоже представляет Григорьева романтиком, но в ином, не филологическом смысле. Он пишет: «Аполлон Григорьев – одна из мятущихся, эксцентрических и – как при жизни, так и слишком долгое время посмертно – гонимых фигур в истории русской литературы и мысли прошлого века. Неприкаянный странник, человек необузданных страстей, проживший жизнь широко и вольно, бездомно и далеко не безгрешно, Аполлон Григорьев

давно уже стал в русской культуре символом национально–исторического романтизма, реальным воплощением легендарной широты «русской натуры», своего рода пророком национальной самобытности, чьи отверженность и скитальчество превратились в поэтический ореол»²⁹. И вот этот *поэтический ореол* подменяет реального Григорьева. Суть его жизни, для автора – «благостная идеальность»³⁰. «Любовь и Ревность, Мечта и Идеал, Надежда и Тоска – большие всепоглощающие чувства... стали действительными слагаемыми судьбы Аполлона Григорьева, не оставляя места житейскому и будничному»³¹. Григорьев – враг мещанства, приверженец вечных, универсальных и абсолютных духовных ценностей. Нам кажется (зная всю тяжесть душевных мучений Григорьева, ставящую не раз его на грань самоубийства), что подобный образ мог возникнуть только у весьма благодушного человека. И только такой человек мог написать, что Григорьев был восторге от собственной судьбы, «патетической и скандальной судьбы бунтаря и изгнанника»³². Когда же повествование доходит до последней поэмы «Вверх по Волге» (1862г.), где агония уже настолько очевидна, что не заметить ее нельзя, автор пишет: «В поэме немало строк, завораживающих силой и искренностью чувства, но проступает и некоторая прямолинейность, простота, граничащая с банальностью(?!). Оказавшись в сфере переживаний и проблематики трагической и прозаической одновременно, поэтическая муза Григорьева как бы лишается крыльев(?). Он способен теперь лишь на простой рассказ об опыте своих жизненных скитаний и мытарств(?). Всеохватного же художественного преобразования этого опыта не происходит(?!). Поэма интересна как исповедь, и сама стихотворная форма этой исповеди оказывается, в сущности, необязательной(?!)»³³.

Мы не согласны с таким взглядом. Мы не согласны, что у Григорьева было «не обыденное детство», а годы «интенсивнейшего развития и мужания гордой, романтически тревожной души, для которой одиночество, самоуглубленность, казалось бы вынужденная, тяготившая, были по–

своему благословением судьбы»³⁴. К слову, здесь ученый углубляется в противоположную Виттакеру крайность. «Биографы Григорьева, – пишет автор, – часто ссылаются на социальные обстоятельства (незаконнорожденность. – *П.К.*) как на решающий для него стимул к необыкновенному рвению в учении. Впрочем, для витавшего в высоких сферах романтических стремлений юноши такое обыденное представление о престиже едва ли было определяющим все поведение фактором»³⁵. Мы не согласны также с тем, что к окончанию университета «коррективы, которые вносит в мирозерцание Григорьева столкновения с реальной жизнью, поразительно незначительны»³⁶; что молодость Григорьева в Петербурге прошла в увлеченности западничеством³⁷, которая в 1845 году резко сменяется «восторженным увлечением» славянофильством³⁸. Мы не согласны с тем, что Григорьев не понял позднего Гоголя и не увидел у него идею смирения³⁹; что в период сотрудничества в «Москвитянине» высшим счастьем для себя Григорьев считал «естественный покой (или неспешное саморазвитие) «органического» бытия»⁴⁰. Что душевная боль – это благо и высокий поэтический смысл, а физическая – проза и банальность⁴¹. Боль – это боль и когда она тобой владеет, то уже не важно, поэтично это или нет.

Наконец, еще раз подчеркнем, мы не можем рассматривать «любовь» Григорьева как универсальную Любовь, его «идеал» как универсальный Идеал и т. д. – иначе наш герой растворится в сиянии вечных ценностей.

Следующая по хронологии работа – книга Г. Маневич (132) «Друзьям издалека, или письма странствующего русского Гамлета» (1993г.). Это философский взгляд на Григорьева, хотя и с пафосом перестроечного времени. Указывая на непосредственную искренность григорьевского творчества, автор говорит: «В наши дни, когда тотальная «идеология», а по Григорьеву – «публицистика», полностью исчерпала себя, как в официальной поэзии, прозе и критике, так и в неофициальных, вневременный феномен А. Григорьева способен сообщить им импульс своей высокой энергичной силы и указать некие целостные критерии в пространстве творче-

ства... приобщение современной литературы к феноменальному миру А. Григорьева может послужить для нее «выводом»—«выходом» в сторону непосредственной, органической жизни за пределы мертвой публицистики»⁴². Главное качество Григорьева – антисистемность. Он – странник, яркий выразитель русского религиозного сознания. Несмотря на то, что в его натуре смешались и «утонченное, эстетическое сознание романтического софиста, блуждающего в мире философии Шеллинга ... и сознание поборника и жертвы «русского тяжелого недуга»», жизненный путь его, если бы не ранняя смерть, завершился бы иночеством, потому что в душе его помимо всего суетного была «вера странника, возжаждавшего встречи со святыней»⁴³. Мы, все-таки, сомневаемся в столь светлом финале: кажется, Григорьев был слишком мечтательным, чтобы найти в себе созвучность с монастырской жизнью.

Мы не согласны также с подходом автора к источникам. Дело в том, что в книге не учитывается хронологическая последовательность григорьевских работ. Свободное совмещение текстов разных периодов приводит к некоторой спутанности толкования понятий. Но главное, мы не согласны с мнением исследователя, которое касается центральной идеи нашего героя – идеи «*жизни по душе*». Автор комментирует ее как «способ жертвовать всем вопреки здравому смыслу во имя сохранения «достоинства литератора и человека» с точки зрения «неизлечимого идеализма»»⁴⁴. Но поскольку Григорьев все-таки потонул в «безобразии», т.е., проще говоря, спился, то у него «жизнь по душе» не становится «жизнью души»⁴⁵, т.е., опять же, проще говоря, моральный облик Григорьева оказался несоответствующим тем взглядам, которые он публично высказывал. Мы бы воздержались от столь суровой морализации, тем более, что принцип «жизни по душе» имеет совершенно иной смысл, который, как нам представляется, без психологического контекста не может быть прояснен. И если рассматривать его с этой точки зрения, что будет сделано в соответствующем месте, то

станет очевидным, что это была, пожалуй, единственная идея с такой полнотой реализованная нашим героем.

В 2000 году вышла наконец долгожданная книга Бориса Федоровича Егорова «Аполлон Григорьев» (85). Никто не сделал столь много в изучении нашего героя, как этот автор. Борис Федорович публиковал и комментировал его статьи, воспоминания и, самое главное, письма. Он восстановил «биографическую топографию» Григорьева: места его пребывания в Москве и Петербурге. Ему принадлежит библиография григорьевских статей. Его трудами реконструирована григорьевская генеалогия. Он – мастер восстановления деталей.

«Аполлон Григорьев» – тоже биография филологическая. Ее предмет – в первую очередь поэтические образы. Лирический герой, который интересуется Егорова, для нас, с одной стороны, слишком узок (т.к. поэзия только один из способов выражения Григорьева), с другой стороны, слишком широк (как одна из составляющих мировой поэтической традиции).

Но, несмотря на разность предметов, есть в работе филолога некоторые методологические приемы, с которыми мы не можем согласиться.

Во-первых, уже не раз оговариваемый нами социологизм: не структурный, как у Виттакера, а наш, марксистский. Вот как автор объясняет романтические увлечения григорьевской молодости: «Постоянные гонения (при Николае I. – П.К.), наказания еще больше способствовали массовому развитию романтических увлечений, но в специфическом, субъективном роде: если внешняя жизнь так страшна и опасна, то нужно замкнуться, уйти в себя, в мир рефлексий или фантастических грез; индивидуализм и рефлексированность становились тоже формой протеста против мрачной и неустроенной действительности. Таковым было поколение Григорьева»⁴⁶. Думается, что когда в Григорьеве формировалось это увлечение, он был слишком мал, чтобы подпадать под действие таких законов. Продолжая анализ характера Григорьева, Борис Федорович так толкует его всем известную безалаберность и беспечность: «Считаю, – пишет он, – что безот-

ветственность – одна из черт русского народного характера XIX века, возвращенного веками крепостного рабства: раб, как известно, лишен нравственного выбора, потому лишен и ответственности за свои поступки. И наоборот, несколько поколений дворянского существования выработали понятия достоинства, чести, ответственности. Григорьев находился как бы посередине между такими крайностями. Конечно, он не был безответственным по убеждениям, но некоторые душевные свойства располагали его к неэтичным поступкам»⁴⁷. Признаемся, тезис о генетическом наследовании классовой морали представляется нам не бесспорным. Идея о том, что материя определяет сознание в «Аполлоне Григорьеве» получает еще одно, еще более и интересное выражение – физиологическое. Почему Григорьев так рано (в 1862 году ему было сорок лет) стал писать воспоминания? Борис Федорович считает, что «можно привлечь «физиологический» домысел. Биологи, – говорит он, – обратили внимание на интересную закономерность: организмы многих видов существ перед началом полового созревания оказываются ослабленными и максимально подверженными разным заболеваниям, то есть возникновение способности продолжать свой род можно истолковать как реакцию особи и всего вида на опасность смерти. Было бы заманчиво предположить, что желание оставить после себя духовное «потомство», воспоминания, связано с предчувствием конца (Григорьев умрет в 1864 году. – П.К.)»⁴⁸. Однако даже такая столь прочная материалистическо–объективная позиция не уберегла автора от субъективизма в интерпретации некоторых психологических вопросов. Если во всем остальном Б.Ф. Егоров научен и даже слишком научен – сциентичен, то здесь он ненаучен вовсе, прибегая к прямому отождествлению себя (вернее, даже своих родственников!) и своего героя. Цикличность настроения Григорьева, его загулы, залезание в долги объясняются им «*принципом корзиночки*» (!). «В моем семейном кругу, – поясняет он, – есть понятие «принцип корзиночки». Четырехлетний внук случайно отломал у красивой плетеной корзиночки одну палочку, что создало заметную дырку. Потря-

сенный случившимся, внук не о починке подумал (это сам внук объяснил? – *П.К.*), а в кусочки разломал корзинку. Вот такой принцип корзиночки постоянно сопутствовал несчастьям Григорьева. Чем хуже и безнадежнее становилось его положение, тем отчаяннее он падал, опускался, совершал невообразимые поступки. Пропадай все пропадом!»⁴⁹ Как это мило.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, задачей этой работы нам представляется составление исторической, то есть охватывающей, по возможности все социальные проявления жизни Григорьева, биографии. Нам интересно мировоззрение критика, то есть как можно более широкий спектр его взглядов, обладающих определенной стройностью за счет наличия ведущего начала. Главное содержание работы – толкование понятий, формирующих мировоззрение критика. Именно для этого и нужна биография, так как толкование не возможно без историчности, то есть рассмотрения идей в их становлении, и без учета внутренней жизни нашего героя. Мы постараемся избежать моментов, критикуемых нами у предшественников, но сразу можем указать на собственное слабое место – возможно, излишний психологизм.

Источники для нашей работы легко доступны: они все опубликованы. Архив Григорьева не сохранился. Правда, поговаривают, что он находится в частном собрании, и даже рассказывают, что в семидесятые годы к Б.Ф. Егорову, когда тот был в Иваново, в архиве которого есть материалы семьи дяди Аполлона – Николая Ивановича Григорьева, приходил некто с предложением продать находящийся у него архив литератора. Но он как появился, так и исчез.

Григорьев оставил воспоминания – «Мои литературные и нравственные скитальчества», произведение редкой изящности и откровенности. Они описывают детство автора: семью, быт, ранние впечатления. Продолжить их Григорьев не успел. Отголоски образов этой поры можно встретить во многих произведениях автора, особенно в лирике.

От студенческих лет остались воспоминания григорьевских товарищей: А. Фета (294), Я. Полонского (264), С. Соловьева (273). Особенно интересен Фет: он жил во время учебы в доме Григорьевых и был самым близким другом Аполлона. Благодаря ему мы можем представить настроения и увлечения двух товарищей. Сохранились также первые работы самого Григорьева. «Отрывки из летописи духа» (1) – самое раннее из них: это попытка выразить свое мировосприятие *«как философы»*. Оно дополняется философической запиской Н. Орлова (252), входившего в студенческий кружок Григорьева. «Листки из рукописи скитающегося софиста» (5), судя по всему, художественно обработанный дневник, написанный вначале внутреннего кризиса нашего героя, пришедшегося на первые послеуниверситетские годы. Он продолжается рассказом «Мое знакомство с Виталиным», который касается 1843, 1844 годов (5).

Представление о том, что творилось в душе Аполлона Григорьева во время его первого пребывания в Петербурге, мы получаем в первую очередь из его лирики (8). В 1846 году выходит его единственный прижизненный стихотворный сборник – «Стихотворения Аполлона Григорьева». В нем можно проследить весь спектр идей молодого человека от масонства до фурьеризма, и весь спектр его настроений от религиозной экзальтации до глубокого отчаяния. Эти идеи и настроения отразились и в григорьевской прозе (5). Это единственный период, когда наш герой пытался выразить себя в этом жанре. «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина», «Один из многих» и др. – рассказы, в героях которых легко узнается их автор. Они настолько биографичны, что иногда даже включают в себя скрытые цитаты из писем Григорьева. Правда писем еще мало, но они очень информативны. Адресуя их, в основном, своему наставнику профессору М.П. Погодину, он старается анализировать свою внутреннюю жизнь, и мы обретаем интереснейшие психологические наброски, плоды рефлексии. Для общества наш герой остался почти незамеченным: мемуаристы о нем молчат.

Работа в «Москвитянине» – расцвет Григорьева. С той поры критические статьи – главный источник для нас (2 – 196). В них все: и идеология, и психология. Бывает, что в какой-нибудь статье неожиданно встретишь деталь из молодых лет. Истолкованная заново автором, она должна особенно перепроверяться: годы туманят авторский взгляд. Кружок Григорьева и Островского, получивший название «молодой редакции» «Москвитянина», уже являл некую общественную самостоятельность. Его замечают и с ним спорят (207, 227, 229, 230, 231, 232, 240, 244, 248, 255, 256, 261, 292). Появляются воспоминания. Наиболее интересны мемуары С.В. Максимова (245), Н.М. Сеченова (271) и И.Ф. Горбунова (215). Максимов был этнографом, а Горбунов артистом. Оба они входили в окружение Островского, и ими создан весьма выразительный портрет общества молодых литераторов. Хотя, конечно, даже эти свидетельства грешат некоторой поверхностностью. Из главных участников кружка никто: ни Островский, ни Алмазов, ни Эдельсон, ни Филиппов – своих воспоминаний не оставили. Что уж говорить про остальных, кто так или иначе соприкасался с ними: несколько абзацев, пара анекдотов на одну тему: пьянство (198, 201, 214, 216, 228, 247, 253, 268, 274, 293, 297). С хронологическо-событийной точки зрения эти работы нас тоже слабо интересуют: все уже давно восстановлено. Что касается воспоминаний Сеченова, то они замечательны тем, что подробно описывают семью Визардов: Григорьев был влюблен в старшую дочь – Леониду Яковлевну. Они хорошо дополняют григорьевскую лирику (8), полностью посвященную этим отношениям. Надо добавить, что и в это время Григорьев пишет Погодину. Не находя ответов на упреки учителя в разгульной жизни, он часто после бесед додумывал оправдания и выражал их на бумаге. В этих письмах он и выясняет отношения, и мечтает, и исповедуется (7).

Но истинной прелестью наполнены его письма из Италии, где он побывал в конце 1850-х годов (7). Нам известны тридцать три письма из разных итальянских городов: из Ливорно, Флоренции, Лукки, Сиенны, Рима.

Главные адресаты – Погодин, Эдельсон (самый близкий друг) и Екатерина Сергеевна Протопопова, знакомая по кружку Визардов. Богатейший материал: идеи, образы, переживания. Предельная драматичность и откровенность; откровенность, даже, вероятно, сознательно доведенная до высшей точки. Это уже даже не исповедь, а анатомия. К сожалению, ответов на григорьевские послания не сохранилось. Он говорил, что пишет книгу, в которой хочет систематически изложить свои взгляды. Книга написана не была и от нее не сохранились даже черновики. Но, несомненно, ее темы рассматриваются автором в поздних статьях и лирике.

С возвращением в Россию началось сотрудничество в новых журналах, появились новые знакомые. Некоторые из них оставили воспоминания. Большинство, как и описанные выше, касаются только внешне–событийной стороны (205, 206, 209, 241, 242, 269, 270). Наиболее интересны мемуары Н. Страхова (276, 277), А. Милюкова (246) и замечания Ф. Достоевского (276, 277). Страхов дает много материала о последних годах жизни Григорьева, с которым он вместе сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха». Но его воспоминания, как и комментарии к ним Достоевского, тенденциозны и предвзяты: первый воспринимал Григорьева как непонятого пророка, второй был раздражен безалаберностью своего сотрудника. Страхов был первым издателем григорьевских писем. Он опубликовал письма к нему из Оренбурга, где Григорьев жил в 1861 – 1862 годах. Большие купюры, сделанные Страховым, были восстановлены только через много лет Ивановым–Разумником (6). С Милюковым Григорьев был знаком по журналу «Свечеч», где первый заведовал редакцией. Милюков очень тепло относился к Григорьеву, который, напротив, был с ним сдержан. Мемуарист изображает нашего героя с явной симпатией, но, как позитивист, рассказывает и о темных сторонах жизни своего знакомого.

Из поэтического наследия много интересного содержит последняя григорьевская поэма «Вверх по Волге», посвященная жизни в Оренбурге и отношениям с М. Дубровской – его гражданской женой (9).

Нам так же интересны публицистические работы Страхова (278–289), Достоевского (220–226) и их оппонентов (217, 218, 260, 296) для выяснения интеллектуального пространства, в котором работал Григорьев.

Большинство статей Григорьева не переиздавалось, и поэтому мы работали в основном со старыми журналами, часто даже в тех случаях, когда статья была заново издана: их список приведен ниже. Там же приведены сборники григорьевских работ, к которым мы также обращались (2, 3, 4, 10): в этом случае статья не включена в общую библиографию, мы выносим туда только название сборника. Лирика литератора давно издана и хорошо откомментирована (8,9). Недавно прекрасно изданы и письма нашего героя (7).

Структура работы следует биографическому принципу. После введения, в котором ставится проблема, рассматриваются литература и источники, следует первая глава, посвященная детству Григорьева (1822–1838). Здесь описываются особенности характера нашего персонажа, повлиявшие на дальнейшие его взгляды. Также анализируется его воспитание и атмосфера в семье, поскольку все это даст себя знать в будущем. Вторая глава (1838–1844) о его ученических годах. В ней рассматриваются университетская атмосфера, ранние идейные увлечения героя и влияние на него товарищей. В третьей главе (1844–1850) мы описываем психологический кризис Григорьева, выясняем его причины и рассматриваем формы выражения. Четвертая глава (1850–1857) посвящена формированию «органического взгляда» – общественно–философской «системы» Григорьева, зародившейся среди «молодой редакции» «Москвитянина». Последняя пятая глава (1857–1864), ради которой, собственно и написаны четыре предыдущих, анализирует мировоззрение позднего Григорьева как часть «почвенничества» – направления журналов братьев Достоевских. В заключении даются общие выводы.

Глава 1. Первая печаль (1822 – 1838).

16 июля 1822 года в доме мещанки Анны Щеколдиной, стоявшем неподалеку от Бронной улицы, у дочери крепостного кучера Татьяны Андреевой родился сын. Крестины состоялись через неделю в церкви Иоанна Богослова в Бронной. Мальчика нарекли Апполонием, в честь римского сенатора, принявшего мученическую смерть. Отец, титулярный советник Александр Иванович Григорьев, по случаю препятствия родительницы его браку с Андреевой, находился в продолжительном запое. Опасаясь, что Аполлон, как незаконнорожденный сын крепостной, может остаться в крепостном состоянии, незадачливые родители 24 июля отдали его в Императорский сиротский дом: его воспитанники зачислялись в мещанство. Мало-помалу страсти улеглись, мать жениха устала перечить, и 23 января 1823 года сыграли невеселую свадьбу. Пока завершились все хлопоты, прошло полгода. В мае Аполлона забрали к родителям. Правда, наследственного дворянства он не получил. Отец, по природной нерасторопности, медлил с прошением, а в 1829 году вышел указ о запрещении подачи просьб об узаконении незаконнорожденных детей последующим браком. Только в 1850 году Аполлон получил личное дворянство по выслуге.

До 1827 года Григорьевы жили в доме купца–раскольника Игнатия Казина около Тверских ворот. Потом перебрались в Замоскворечье к вдовствующей штабс–капитанше Ешевской в "мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло–желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и какими–то зверями на плачевно–старых воротах; в дом, утопающий в старых одичавших садах, тишине, нарушаемой только колоколами Спаса на Болвановке"⁵⁰. Здесь началось сознательное детство Григорьева. Продолжалось оно уже в другом углу Замоскворечья, недалеко от Спаса Преображения в Наливках, в доме, купленном, когда Аполлону было 10 лет. Это жилище больше походило на купеческое: не штукатуренные

деревянные стены, "резные наличники, глухой забор со всегда запертой калиткой"⁵¹. Но это был *свой* дом.

Уже в детстве оформились или были заложены основные черты характера Григорьева. Главной из них, составляющей стержень его сознания, определивший направление его поисков, нам кажется, надо признать чрезмерную чувствительность. Чувство, то есть склонность выносить суждения, основанные скорее на субъективном принятии или отвержении, нежели на логической связи, проявилось в молодой душе через необъяснимую тягу к чудесному и буйное воображение. Вот его описание своих переживаний: «Суеверия и предания окружали мое детство... Дворня у нас была вся из деревни, и с ней я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в «Сне Обломова»... Ее рассказы поддавали жара моему суеверному или, лучше сказать, *фантастическому настрoйству** рассказами о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу Малахову, о кладе в кириковском лесу, о колдуне—мужике, зарытом на перекрестке. Да прибавьте еще к этому старика—деда, брата бабушки, который, когда мне было десять лет, жил у нас в мезонине, читал все священные книги и молился, даже на молитве и умер, но вместе с тем каждый вечер рассказывал с полнейшей верою истории о мертвецах и колдуньях... Мир суеверий подействовал так, что в четырнадцать лет, напившись еще, кроме того, Гофманом, я истинно мучился по ночам в своем мезонине»⁵². Но он всегда стремился снова и снова испытать «это сладко—мирительное, болезненно дразнящее настрoйство, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного странного мира»⁵³. Так проводил свои дни Аполлон: в фантазиях, таинственных мечтаниях, рождающих в воображении бездонную сказочность; впитывая басни народного эпоса, лежа в осенние вечера на старом ларе в сарае, закутавшись в шубу и слушая дворовую девочку Марину или сидя зимой в зале на ковре, обложенный иг-

* Выделено нами.

рушками, внимая рассказам младшей няньки Лукерьи о бабушкиной деревне.

Чувствительность Григорьева имела характерные свойства. Во-первых, она была тесно сопряжена с чувственностью, так что любой образ имел свой «вкус, цвет и запах»⁵⁴. Во-вторых, Аполлон был подвержен определенной аффектации, в чем позже сам признавался: «Я ревел до истерик, когда доставалось за пьянство кучеру Василию или жене его, моей старой няньке, или человеку Ивану за гульбу по ночам и пьянство и за гульбу с молодцами моей молодой и тогда красивой няньке Лукерье»⁵⁵.

Однако наиболее определяющим качеством чувствительности Григорьева была, казавшаяся ему неестественной, болезненная тоска, находившая на него иногда вечерами⁵⁶. Но даже если она и не подступала постоянно к сердцу, то навязчиво окрашивала мировосприятие. Первые впечатления уже затуманены ею: «Хоть и сквозь сон как будто, но помню, как везли тело покойного императора Александра, и какой странный страх господствовал тогда в воздухе»⁵⁷—да и в последующее время «в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное; души настроены были этим мрачным, тревожным и зловещим, стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки давали отзыв этому настрою»⁵⁸.

В его внутреннем мире всегда была тоска по утраченному идеалу. Он любил цитату из Мюссе, относящуюся к посленаполеоновскому поколению: «Война кончилась...Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были каплей горячей крови: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на улицы и на дороги — все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении... Им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь»⁵⁹. В детстве тоска по утраченному приняла образ потерянной счастливой Аркадии. «Помню так живо, как будто бы это было теперь, что в пять лет у меня была уже своя Аркадия, по которой я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серо — именно серо — ка-

залось мне настоящее. Почему эта жизнь представлялась мне залитою каким-то светом – дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть общая примета моей эпохи (романтизм. – *П.К.*), с другой – дело физиологическое»⁶⁰. Этой Аркадией была жизнь в доме Казина. Григорьевы съехали оттуда когда сыну было пять лет, после смерти тринадцатимесячной дочери Марины. А Аполлон долго «лелеял в детских мечтах Аркадию Тверских ворот с большим каменным домом, наполненным разнородными жильцами, с шумом и гамом ребят на широком дворе, с воспоминаниями о серых лошадях хозяина, которых важивал он часто смотреть; об извозчике-лихаче Дементии, который часто катал от Тверских ворот до ворот Триумфальных, вероятно из симпатии к русым волосам и румяным щекам младшей няньки; тосковал о широкой площади с воротами Страстного монастыря с изображениями на них «страстей господних», к которым любила ходить старая нянька, толковавшая по-своему, апокрифически-легендарно эти изображения в известном тоне апокрифического сказания о сне Богородицы»⁶¹. И даже будучи уже молодым человеком, он проходил мимо этого дома с сердечным трепетом, заходил на старый двор, говоря, что хочет снять комнату, в действительности же стараясь припомнить уголки, где играл когда-то.

Чувство какой-то лишенности, разделенности и покинутости в той или иной степени не покидали Григорьева всю жизнь. Более того, тоска по утерянному придавала его чувствам явный консерватизм.

Ранимая чувствительность не находила пристанища в родителях. Отец будущего критика Александр Иванович Григорьев – был во многом противоположность сыну: положительно-цельный, чувственный и немного сентиментальный. В юности он числился канцеляристом в Главной соляной конторе, но на деле учился в 1802 – 1806 годах в Московском университетском благородном пансионе, куда его устроил отец – частично из-за амбиций человека, недавно получившего дворянство, частично, желая, чтобы сын сделал удачную карьеру. Целью этого учебного заведения было

воспитание чиновников, сведущих в разных областях знаний, но при этом добропорядочных и благонамеренных. Инспектор пансиона А. Прокопович–Антонский, близкий масонским кругам, удачно совместил просвещение молодых дворян с прививанием им «добродетельности»: смирения, доброты, преданности монарху и религии⁶². Прилежание считалось необходимым качеством⁶³. Учебный план включал занятия по военным, юридическим и экономическим предметам. Однако широта диапазона приводила к поверхностности. Впрочем, для чиновника этого было достаточно. Александр Иванович, в отличие от таких своих сокурсников, как Н. Тургенев, А. Якубович, М. Фонвизин, полностью проникся требуемым от воспитанников духом. Его карьера, при протекции некоторых знакомых отца, начиналась удачно. В 1806 году он был определен коллежским регистратором в Правительствующий Сенат и к 1816 дослужился до титулярного советника. Но тут началась упомянутая история с Татьяной Андреевой, потом смерть отца, запои от безвыходности – в общем, место он потерял. Так он маялся до февраля 1822 года, пока не образумился и не устроился в Московскую казенную палату, а потом, поскольку был сведущ в юридических делах, во второй департамент Московского магистрата секретарем. Чиновник он был самый обычный, а место оказалось хорошим: надо было производить гражданский суд над купцами и мещанами. Потому «жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии... Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из охотного ряда даром. Корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы им тоже ничего не стоил»⁶⁴.

Александр Иванович крепко стоял на земле, был чужд чувствительности как по склонности характера, так и в силу влияния эпохи своей молодости. Вот его характеристика, данная сыном: «Он любил Карамзина в его первоначальной деятельности, Дмитриева в его сказках и Нелединского в его песнях: под эти песни он, конечно, по–своему любил когда–то и нежничал, если он способен был хотя когда–нибудь любить и нежничать. Сказки Дмитриева были *profession de foi* полу–скоромного, полу–

нравственного воззрения на жизненные отношения его эпохи... Жуковский прошел как-то мимо него. Оно и понятно. Отец был совсем земной, плотский человек: заоблачные стремления и заоблачный лиризм были ему совершенно не понятны»⁶⁵.

Аполлон не чувствовал эмоциональной тяги к отцу, поскольку тот часто насмехался и шутил над сыновьими порывами. Общение их ограничивалось тремя встречами в день. В восемь часов отец и сын сходились в гостиной пить чай. Александр Иванович по обыкновению молчал, пока пил первую чашку, потом начинал наставлять или поддразнивать сына, если был в духе. После этого отец, одев мундир, рыжеватый парик и набив табакерку, направлялся в присутствие, откуда возвращался к двум часам. Начинался обед, центральное действо дня. «Да! — вспоминал Аполлон, — у нас это было священнодействие, к которому приготавливались еще с утра, заботливо заказывая и истощая всю умственную деятельность в изобретении различных блюд... Приходится говорить о безобразии, до которого доходило в нашем быту служение мамону»⁶⁶. Обыкновенно в этот час Александр Иванович был очень благодушен и стремился не столько наставлять на путь истины, сколько хорошо покушать, а потом поспать. Вечером все опять сходились к чаю; здесь проводились суд и расправа или, напротив, выносились одобрения и поощрения. Так и шел день за днем, за исключением праздников, когда отец и сын шли к обедне.

«Буйства, буйства в различных его проявлениях, неуважения к существующему боялся мой отец, — вспоминал Аполлон, — он инстинктивно глубоко разумел смысл нашей общественной жизни, где люди делились на «больших» и «маленьких»... он, удовлетворяя собственному вкусу к мирным нравам, имел, без сомнения, в виду и во мне развить добрую нравственность, послушание старшим, житейскую уступчивость»⁶⁷. Но делал это отец без всякой системы, как захочется, действуя наставлениями в классическом духе. Случалось, что, будучи не в настроении, он впадал в бешен-

ство. Чем сначала пугал мальчика. Но ответная реакция не замедлила проявиться.

Александр Иванович долго не сердился, ему надо было только сорваться на ком-нибудь. Поэтому его распоряжения и увещевания полностью игнорировались дворовыми, все больше и больше распускавшимися. Например, «час, когда дом должен был спать *de jure, de facto* начинался полнейший разгул всякого блуда, пьянства и безобразия... У нас постоянно все более и более узаконивались, становились непреложными вещи антирациональные, так что впоследствии посягнуть на священность и неприкосновенность прав на пьянство и буйство повара Игнатия было делом не совсем безопасным»⁶⁸. Хозяин закрывал глаза и терпел все это ради собственного спокойствия, пока снова не наступала минута, когда ему хотелось покричать. Аполлон не мог не замечать этого, и авторитет отца все больше уменьшался в его глазах. Он видел несправедливость его гнева, понимал, что это больше результат плохого настроения, что он не имеет смысла, так как все останется по-старому, что наставления формальны, что у отца нет ни воли, ни серьезного желания доводить дело до конца. «Отца моего, — писал Аполлон в зрелости, — я не мог никогда (с тех пор, как только пробудилось во мне сознание, а оно пробудилось очень рано) уважать, ибо, к собственному ужасу, видел в нем постоянный грубый *эгоизм* и полнейшее *отсутствие сердца* под внешней добротой, то есть *слабостью*, и миролюбием, то есть гнусною *ложью* * для соблюдения худого мира»⁶⁹. В общем, он понял, что человек, находящийся рядом с ним, просто самодур, и внутренне перестал его считать для себя авторитетом. Александр Иванович попытался, чувствуя возрастающую замкнутость сына, сменить иррациональный авторитет на рациональный, но «основывал его не на уме и доброте, а на плохом французском, да на лоскутках весьма поверхностного образования»⁷⁰, и, к тому же, на комически-утрированной патетике чести

* Выделено нами.

дворянского сословия, которая вызывала отторжение своей театральностью и надуманностью. Так дело и закончилось. Все, что Аполлон Григорьев вынес из своих отношений с отцом, было понимание, что «личности в нем не было, и он развился как-то так, что решительно не дорожил ни своею, ни чужою личностью... судьба дала ему и достаточно много восприимчивости, легкости усвоения впечатлений, и достаточно мало твердости и умственной глубины... как в жизни он способен был подчиняться всякой обстановке ради тишины и мира, так и в духовном развитии»⁷¹.

Постепенно в душе Григорьева образ маловыразительного и эгоистически-мелкого отца был вытеснен образом деда – Ивана Григорьевича. «Дед мой, – говорил с гордостью внук, – удивительно походил на старика Багрова. Он не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной. Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробивал себе дорогу лбом, и пробил себе дорогу, для своего времени довольно значительную – был он от природы человек умный и энергичный; кроме того, была у него еще отличительная черта – жажда к образованию»⁷². Иван Григорьевич происходил из обер-офицерских детей. Службу начал с восьми лет копиистом в Волоколамске. На его упорство и добросовестность вскоре обратили внимание и в 1777 году взяли в Московскую губернскую канцелярию. В Москве долго он терпел лишения, мыкался по углам; будучи женатым и имея сына, ютился в одном из домов причта Никиты на Старой Басманной, где дядя его был протоиереем. Но, не смотря ни на что, упорно шел вверх по служебной лестнице. В 1782 году он становится регистратором, через два года коллежским секретарем; участвует в Комиссии по клеймению иностранных товаров, а в двадцать девять лет за расторопность, рачительность, знание дела и хорошую работу переводится в Управу благочиния, где вскоре получает должность казначея; наконец, в 1803 выслуживает чин коллежского ассесора и, соответственно, дворянство. «Да! По многому в праве я заключить, – писал Аполлон, – что далеко не дюжинный человек

был мой дед»⁷³. Служа, родоначальник рода Григорьевых, конечно, брал если не взятки, то, по крайней мере, добровольные поборы – таковы были правила времени. Во всяком случае, сразу по переходе в новое сословие, он покупает село Иринки во Владимирской губернии с десятью душами мужского пола и хороший каменный дом на Малой Дмитровке с двенадцатью душами дворовых. Жизнь того времени сытая, неспешная, набожная и патриархально–деспотичная была для детей Ивана Григорьевича потерянным раем. Пожар 1812 года так сильно повредил московские владения, что сочли за лучшее продать их за бесценок и снимать квартиру. Вскоре Иван Григорьевич умер в чине надворного советника, оставив детям достаточные средства.

Образ деда все более и более приобретал для Аполлона мифологичность, чему немало способствовала его тетушка Елизавета Ивановна, схожая характером с племянником и, писал он, «которая и сама, может быть, не подозревала, как много она имела влияния на мое отроческое развитие своей, по формам странной, но страстной и благородной экзальтацией»⁷⁴. «Когда приезжали к нам из деревни, – продолжает он, – погостить бабушки и тетки, я весь решительно подпадал под влияние старшей тетки... она вся сосредоточилась на воспоминаниях прошедшего. У нее даже тон был постоянно экзальтированный, но мне только уже в позднейшие года начал этот тон звучать чем–то комическим. Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непременно́й возврат этого золотого века для нашей семьи»⁷⁵.

Понятно, что переживания Катерины Ивановны были очень близки Аполлону: эмоциональность и тоска по утраченному наполняли обоих. Портрет Ивана Григорьевича, созданный ею, настолько очаровал племянника, что его впечатлительная натура еще долго придавала деду мистический ореол. «Была эпоха, эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда под влиянием мистических идей, я веровал в какую–то таинственную связь

моей души с душою покойного деда, в какую-то метемпсихозу не метемпсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить по Москве по ночам, я, дойдя до церкви Никиты-мученика на Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулочка, первым пристанищем деда в Москве, когда пришел он составлять себе фортуны, и, садясь на паперть часовни, ждал по полчаса, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов»⁷⁶. Образ пращура был тем более загадочен, что ходила семейная легенда о принадлежности его к масонам. Говорили, что он был близок к Новикову и что, когда того арестовали, сжег значительную часть своей библиотеки. Ее остатки долго хранились в деревне и были привезены оттуда в Москву году в 1833. Судя по ее составу, владелец определенно имел какое-то отношение к масонству: там содержались книги Эмина, автора назидательного «Пути к спасению»; Бюниана, английского нонконформиста, написавшего «Любопытное путешествие христианина и христианки к вечности»; и «Об истинном христианстве» немецкого мистика XVII века Иоганна Арндта. Присутствие этих старых книг в комнате Аполлона наполняло его мечтательным ощущением причастности к таинственности прошлого, хотя он долго еще не брал их для чтения, поскольку содержание для него казалось весьма темным.

То, что Иван Григорьевич был деспот, оставалось Аполлоном не прочувствованным. В его глазах он был полон иных качеств: «В нем жило крепко чувство добра и чести, и была в нем еще, по рассказам всех его знавших, необоримая вера в Бога правды, была в нем святая гордость, которая заставляла его не держать языка на привязи перед архиереями ли, перед светскими ли властями»⁷⁷. С этим идеалом Аполлон долго сопоставлял своего весьма нехарактерного отца. «У деда были крепкие убеждения, — приходил он к заключению, — а у отца это была просто вся бывалая эпоха, воспринятая его душою безразлично, бессознательно, так сказать, раб-

ски, не осмысленная никаким логическим процессом, засевшая в уме гуртовым хаосом... он боялся паче всего рассуждения, привык все принимать безразлично»⁷⁸. Отсутствие неколебимых жизненных принципов мальчиком воспринималось как форма эгоизма, а безволие – как проявление беспринципности. Дед в его восприятии обладал честью, отец – нет; дед был «кряжевой натурой», отец – «стриуцким»^{*}.

В отличие от отца, мать никогда не отступалась и поэтому воспринималась в доме всерьез. По этой же причине ее влияние на становление личности сына было несоизмеримо сильнее отцовского, правда, носило весьма болезненный характер.

Если глава семьи делал внушения из прихоти или «так сказать, чтобы совесть не зарила, и долг родительский в некотором роде был исполнен – а сам внутренне был глубоко убежден в бесполезности всяческих запрещений и смотрел на все сквозь пальцы»⁷⁹, хотел так смотреть, чтобы не беспокоить себя лишний раз; то хозяйка, напротив, отличалась требовательностью и развитым чувством самой строгой справедливости. Татьяна Андреевна была младше мужа на четыре года, о ее родителях, родственниках и первоначальной судьбе мы ничего не знаем. Фет представляет ее скелетоподобной старушкой с грустно–серьезными глазами⁸⁰. Она была больна, ее лечили от ипохондрии, хотя, что это было на самом деле сейчас трудно сказать. Аполлон так говорил о ее состояниях: «Несколько дней в месяц она переставала быть человеком. Даже наружность ее изменялась: глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах злоеющая улыбка... В остальное время прекрасные черты ее лица прояснялись, не теряя, впрочем, никогда некоторой строгости... движения были резкими, голос болезненно надорванным»⁸¹. Она была в доме законодательницей. Муж, чтобы избегать постоянных ссор, подчинялся ее хозяйской воле или

^{*} Т.е. подъячим.

скрывался в кабинете; и вообще, он вел очень тихий образ жизни: не употреблял после женитьбы спиртного, забыл старых друзей, редко куда—нибудь отлучался, кроме присутствия. Зато дворовые и Аполлон в полной мере ощущали на себе особенности характера Татьяны Андреевны.

Татьяна Андреевна была от природы неглупа и практична, поэтому хозяйство вела сама и достаточно рачительно. Но ее природные качества постепенно оказались сильно искажены недугом и превращены в нестерпимые крайности. Ее мелочная, придирчивая, неотступная опека над всем, что находилось в ее ведении, и за что она искренне считала себя в высшей степени ответственной, приводила к постоянным склокам с дворовыми. Редко бывало, чтобы она не бранилась с глуховатым человеком Иваном «за то, что он «как мужлан» охапку дров брякнет об пол»⁸², или с Лукерьей, «которую она постоянно поедом ела за грехи против целомудрия»⁸³, которая из-за этого впоследствии искренне ее ненавидела, или с женою кучера Прасковьей за то, что та белье сложила не в одну стопку, а в две и т. п. Из дома она практически не отлучалась, кроме как к светлой заутрене.

Дворовые, конечно, злились на барыню, но, привыкнув, воспринимали ее уже как нечто объективно неприятное, а вот для сына такое отношение являлось принципиальным при формировании его личности. По словам Аполлона, его мать держала «в хлопках», то есть усиленно и навязчиво оберегая. Все его пребывание рядом с родительницею сопровождалось постоянными ошипываниями и одергиваниями, упреками за сделанные и возможные шалости и неприличное поведение⁸⁴. Мать, как, впрочем и отец, исполненная дворянской амбиции, не позволяла ему резвиться, считая это уделом простолюдинов. «При старом доме (у Спаса на Болвановке. — П.К.) был сад с забором, и забор выходил уже на Зацепу, и в щели по вечерам смотрел я, как собирались и разыгрывались кулачные бои. О! как билось тогда мое сердце, как мне хотелось тогда быть в толпе этих мальчишек, мне, барчонку, которого держали в хлопках, изредка только позволяя играть в игры с дворнею», — сетовал Григорьев⁸⁵.

Из этой же дворянской амбиции хотели дать Аполлону такое образование, какое было принято в светских домах. «В то время, – писал современник, – богатые и знатные дворяне приготавливали своих сыновей у себя дома... В гимназиях по преимуществу учились дети горожан и местных чиновников и приобретали очень скудные познания, которые не могли удовлетворить требованиям образованных людей»⁸⁶. С шести лет Аполлону преподавал уроки музыки Джон Фильд, известный по тем временам пианист, дававший свои концерты во многих европейских странах. Его стараниями Григорьев прекрасно умел музицировать. С этого же времени появился дядька–француз, который долго жил в семье, пока наконец как–то на Святую не напился и не расшибся, упав с лестницы на антресоли. В остальном же, в первоначальном учении «была, – по словам воспитуемого, – безобразная беспорядочность. Собственно учился я тогда мало, но сидел над учением чрезвычайно много. То, что давалось мне легко, я, разумеется, вовсе не учил; то, что могло вдолбиться, несмотря на мою лень, вдолбилось, вследствие сидения по целым дням, то, к чему я вовсе не имел способностей, как математика, вовсе не вдолбилось»⁸⁷. Сначала мать было сама взялась учить сына, когда тому было лет шесть, но, поскольку она была малограмотна, ничего не получилось, кроме невнятного собирания слогов без всякой системы и смысла. Когда мальчику исполнилось семь, решили приискать ему учителя, чтобы подготовить к поступлению в университет. Учителем стал в 1829 году восемнадцатилетний студент медицинского факультета, бывший семинарист Сергей Иванович Лебедев. Он приходился дальним родственником какому–то сослуживцу отца.

Теперь началось настоящее мучение, продолжавшееся до 1833 года. С утра задавался урок по латыни, математике, катехизису и кусок из священной истории наизусть. Сергей Иванович тем временем уходил в университет. Мать неотступно следила, чтобы сын сидел за столом и занимался. А он не урок учил, а мечтал, умилялся и плакал над создаваемыми фантазией пленными или преследуемыми красавицами и героическими рыца-

рями, да украдкой бегал на кухню⁸⁸. Обычно кончалось тем, что вернувшийся к двум часам учитель выяснял, что задача не решена, в священной истории и латинской грамматике путаница. Тогда в виде наказания, Аполлон и после обеда сажался за книги в комнату Сергея Ивановича. Сколько в ней слез пролилось над учебником арифметики... А вечером Сергей Иванович рассказывал хозяйке о небрежности ее сына. И на следующее утро будет самое ужасное, потому что после чая надо идти к матери на расчесывание волос, «а мать будет неумолчно и ядовито точить во все долгое время чесания волос частым гребнем, прибирая *самые ужасные и оскорбительные для гордости* * слова»⁸⁹. Натура Григорьева не принимала семинарского метода обучения «от сих до сих», и каждодневные нравов учения матери имели своим результатом только все возрастающее чувство неполноценности, ощущение нехватки способностей, с которым Григорьеву пришлось потом долго бороться, и которое оставило в душе достаточный след, чтобы он и через тридцать лет был искренне убежден в отсутствии у себя оных до двенадцати лет⁹⁰. В общем, не только отношения с отцом, но и «болезнь матери, и начавшаяся проклятая латинская грамматика, и еще более проклятая арифметика – многое навевало мрак»⁹¹.

Григорьев не мог, хотя бы инстинктивно, не искать выхода из положения, не искать того места, где чувствовал бы себя свободно. Утратив чувство родительского тепла, он стремился к покровительственной поддержке других взрослых. Эту роль выполнили дворовые. «Бессознательно поступали мой отец и мать, – объяснял Григорьев происходившее, – не удаляя меня от самых близких отношений с дворовыми... это тем более делает им честь, что в них, как во всей нашей семье, было ужасно развито чувство дворянской амбиции во всех других жизненных отношениях. В этом же все шло по какому-то исстари заведенному порядку...»⁹². При любом удобном случае мальчик убегал в сарай или на кухню, где мог си-

* Выделено нами.

деть бесконечно, слушая истории, наблюдая за работой, наслаждаясь свободой и чувствуя, что здесь он может быть самим собой. Мир дворовых, намного более разнообразный и загадочный, чем домашняя обстановка, ни к чему не принуждающий, укрывал уютом, насылая блаженно-мечтательную полудрему. Жил с дворовыми «совершенно интимно»: у них от него секретов не было, ибо они знали, что он их не выдаст; по рассказам он знал всех мужиков из деревни, а многих лично, с ним они, предупрежденные дворней, не чинились и не таились. Ужасно он любил их и, провожая, поминал даже в своих детских молитвах⁹³. Больше всех он общался с сорокалетним кучером Василием, женой его Прасковьей и двадцатипятилетней Лукерьей.

«Не одно суеверие развили во мне ранние отношения к народу, — не без скрытой гордости говорил потом Григорьев, — не мало есть и дурного в этом отсадке народной жизни, дурного, в котором виноват не отсадок, а виновато было рабство — не мало дурного, разумеется, привилось ко мне и привилось, главным образом, не в пору. Рано, даже слишком рано, пробуждены были во мне половые инстинкты; рано также изучил я все тонкости крепкой русской речи, и от кучера Василия наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах^{*}»⁹⁴. Уже лет в четырнадцать он запирали двери за Иваном, уходившем «в ночную» к своим любовницам и отпирал их с раннего утра; а, будучи студентом, привозил Василия из кабаков, незаметно от родителей заводя лошадей и запирая ворота. Эти отношения были столь крепки, что Григорьев с нежностью вспоминал их всю оставшуюся жизнь, а Василия считал не только своим воспитателем, но и на половину своим первым учителем.

Вторым убежищем было чтение. «Жить, то есть мечтать и думать, — говорит Григорьев, — начал я очень рано; а с тех пор, как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями

* О попах.

литературными»⁹⁵. Это была эпоха романтизма, эпоха борьбы с догматизмом. Романтики выдвинули на первое место элемент чувства, открыли широкий простор воображению, провозгласили уважение к личности, к индивидуальному, пробудили новую веру в духовные начала жизни, обратились к народной поэтической старине – в общем, романтизм, как ни одно другое направление, мог стать опорой для Григорьева в обретении им своего *Я*. Его окружали русские исторические романы. От «Юрия Милославского» Загоскина до «Давида Игоревича» Рудневского, от «Новика» Лажечникова до «Леонида» Зотова – он безразлично упивался всем. Притяжение старины для Аполлона было очаровывающим, из-за этого чувства он даже время от времени заглядывал в содержащиеся среди ветхих книг деда сатирические журналы екатерининской эпохи и «знакомством своим с мыслью и жизнью ближайших предков обязан был эти старым книгам»⁹⁶.

Если мы посмотрим в «Юрия Милославского», то увидим, что здесь есть и богатыри силы и духа, которые заступаются даже за врага, веруя в правило, что «на Руси лежащих не бьют», и люди, которые могут не выходить из кабаков дни напролет, но которые в случае необходимости готовы довольствоваться куском хлеба; увидим, что сущность народной русской души – «милость к падшим», радость о душе кающегося грешника, благородство и нежность сердца, прямота и справедливость, энергия и находчивость. В этих книгах видел Григорьев воплощение своих представлений о достойном человеке. «То был особый мир, особая жизнь, непохожая на эту действительность, жизнь мечты и воображения, странная жизнь, но по своему могущественному влиянию столь же действительная, как сама так называемая действительность»⁹⁷.

После десяти часов Аполлон должен был засыпать, но он сидел и незаметно для остальных слушал, что происходило в соседней комнате. А там была спальня родителей, для которых Сергей Иванович обычно до часу, а то и до двух читал готические романы, запретные для мальчика. Сергей Иванович сам был натурой впечатлительной, и поэтому чтение выхо-

дило азартным, действительно захватывающим. Читались популярные вещи: «Таинства Удольфского замка» Радклиф, «Дети Донретского аббатства» де ля Рош, «Матильда» г-жи Коттен – в общем, все то, что завораживало воображение рыцарским благородством, таинственностью загробного мира и сильными страстями.

Литература столь втянула Аполлона, что, по его словам, перед ним «очень долго ходили не люди живьем, а образы романов или образцы истории»⁹⁸.

Сергей Иванович, когда не терзал уроками, своим вдохновенным идеалистическим энтузиазмом импонировал Григорьеву. «Как была весела для меня его комната, – читаем мы, – начиная с пяти и до десяти часов, когда учения уж не было, когда я был в ней гостем посреди других гостей Сергея Ивановича, студентов разных факультетов»⁹⁹. «Говорилось и говорилось с азартом о самоучке Полевом и его «Телеграфе» с романтическими стремлениями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесконечных альманахах той наивной эпохи; с какою-то лихорадочностью произносилось имя «Лорд Байрон»; из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева, принося неопределенное чувство суеверного и вместе обаятельного страха»¹⁰⁰. Григорьев, конечно, эти разговоры воспринимал больше на эмоциональном уровне, на уровне бессознательных восторгов приобщения к чему-то сакральному. Но как бы там ни было, с тех пор литература осталась для него миром неисчерпаемым, разнообразнейшим, дающим пищу уму и сердцу.

Случалось, в сумерки Сергей Иванович фантазировал, придумывая себя героем какой-нибудь таинственной истории и обязательно помещая в свои фантазии Аполлона, который был вне себя от восторга. Мальчик тянулся к энергичности и увлеченности студента. «Бывало Сергей Иванович заляжет на дырявый диван и если не фантазирует вслух о своих любовях, то рассказывает и хорошо рассказывает римскую историю, и великие личности Брутов и Цинцинатов, Камиллов и Лариев исполинскими призраками

встают перед воображением»¹⁰¹. Образцы римской добродетели окончательно оформили протест Григорьева против домашнего обезличивания. Этот протест воплотился в стремлении добиться успеха и признания в обществе, найти общественное подтверждение своей самостоятельности, в жажде деятельности, независимой инициативы; ему «жадно хотелось жизни, страстей и борьбы»¹⁰². Он знал наизусть трактат Цицерона «Об обязанностях» – основу латинской этики¹⁰³. «Вся заслуга доблести состоит в деятельности, – говорилось в нем, – люди рождены ради людей, дабы они могли быть полезны друг другу, мы должны в этом следовать природе как руководительнице»¹⁰⁴. Только этим переворотом в сознании мы можем объяснить последующую жизнь Григорьева. В основу поведенческой установки критика легло желание самовоплощения, чтобы нейтрализовать заложенный комплекс неполноценности. Причем это самовоплощение должно было происходить в обществе и для общества – иначе оно лишалось значимости.

Новый учитель, И. Беляев, – товарищ Лебедева, будущий крупный историк русского права, а пока преподаватель в пансионе Погодина – занимался подготовкой Григорьева в университет, после того как Сергей Иванович отбыл в Калужскую губернию. Занятия продолжались с 1836 по 1838 годы. Очень показательно, что теперь негативных отзывов о способностях ученика вообще нет. Напротив, Беляев крайне им доволен и ставит Григорьева в пример Фету, который в это время готовился в Погодинском пансионе: «Какая память, какое прилежание! – говорил он, – не могу нахвалиться»¹⁰⁵. Еще ярче стремления Григорьева проявятся по поступлении в Московский университет.

Таким образом, рассмотрев изначальные обстоятельства жизни Аполлона Григорьева, можно заключить, что главным его качеством была

эмоциональность, окрашенная рано возникшей, но всю жизнь сохранявшейся тоской и носящей консервативный характер. Чувство недоверия и отчуждения к отцу, боязнь матери, своими методами воспитания смогшей только развить в ребенке гипертрофированное восприятие своих недостатков – побудили Аполлона Григорьева искать компенсацию такому дискомфортному состоянию. Последняя была найдена в общении с дворовыми людьми и в увлечении чтением. Под влиянием романтических настроений, воспевающих свободную сильную личность, а также под обаянием героев римской истории у мальчика формируется этический идеал, ставший ответом на образ родителей. Этот идеал предполагал стремление к возможно полной самореализации, которая бы признавалась обществом и служила его благу. В дальнейшем мы постараемся проследить развитие и укрепление этих ценностей в сознании нашего героя.

Вышеперечисленные факты душевной жизни Аполлона имели самое непосредственное влияние на его дальнейшую жизнь, внутреннее состояние и систему взглядов: здесь истоки его порывистости, стремления «прожигать жизнь», культа героической личности, поиска социального идеала среди низших слоев. Но особенно хотелось бы подчеркнуть одно глобальное противоречие сознания Аполлона, заложенное, как нам кажется, именно в этот период. Мы говорим о противоречии базовой эмоциональности и этической установки на служение обществу. В России XIX века, в среде интеллигенции, придерживающейся рационального типа мышления, к эмоциям не могло быть доверия. Все попытки Григорьева добиться серьезного к себе отношения будут обречены на неудачу; его идеи останутся невостребованными, что приведет к тяжелому внутреннему конфликту, в конце концов окончившемуся преждевременной смертью.

Глава 2. Западная тщеславия (1838 – 1843).

Накануне поступления в университет мы застаем Григорьева за чтением Ламартина, Гюго и Байрона¹⁰⁶. Настроения этих авторов дают нам представление и о внутреннем мире их читателя. Известно, что особенно притягательной была для Григорьева поначалу лирика Ламартина. И это не может не быть понятным; Ламартин, нежный, меланхоличный мечтатель, чувствительный и доверяющийся слезам, был близок юноше. Доминирующее настроение «*Méditations poétiques*» – разлученность с желанным, лишенность испробованной радости. Любимая умерла:

Мне не хватает лишь одного существа – и все обезлюдело.

Грусть по Аркадии нашла в поэте своего певца. Фет специально для Григорьева займется переводом ламартиновского «Озера», любимого стихотворения Аполлона:

Ах, озеро, взгляни: один лишь год печали
Промчался – и теперь на самых тех местах,
Где мы бродили с ней, сидели и мечтали,
Сию один в слезах¹⁰⁷.

Все напоминает об ушедшем, и эти воспоминания возбуждают тихие движения сердца, зовут к спокойному созерцанию, подальше от земли, на которой все тускло; обращают к новым туманным упованиям. Этот меланхолический оптимизм, проникающий французского поэта, одушевлял и молодого Григорьева. Позже, погруженный в отчаяние, он говорил с безнадежностью об этом времени: «Человек – свободный житель божьего мира – заперт в тесный кружок, прикован исключительно к одной частице этого беспредельного мира, и горе тому, если из своей тесной клетки видит он светлую даль необозримого небосклона»¹⁰⁸. Тогда его душа еще могла отдыхать в созерцании прошедшего, уже отцветшего, но еще сохранившего тепло, в уповании на будущее.

Желание лучшего мира покоилось на присущем Аполлону мистическом ощущении жизни как какого-то таинственного явления, полного глубокого смысла. Этим можно объяснить его очарованность «Собором Парижской Богоматери». Впечатлительность Григорьева не могла не поддаться обаянию ощущения действия мистических сил, открывающих план мироздания. Собственно, идейное содержание в переживаниях молодого человека было минимальным, как и в произведении Гюго; это был скорее «пафос души», смутное и искреннее верование в возможность чего-то светлого. Вечерами, особенно долгими зимними вечерами, когда тяжело подступало к душе Аполлона одиночество, и пуста и печальна казалась ему комната, и рябило в глазах от света свечи – «тогда душа просилась на волю, тогда снова окружали воздушные призраки со своими волшебными, неизведанными чарами... О! эти призраки просились жить и сами звали к жизни»¹⁰⁹. Только литература его и утешала. Долго Notre Dame останется для Аполлона знаком надежды, так что он будет просить знакомых, отправляющихся в Париж, кланяться от него собору¹¹⁰.

Но вскоре в нем проявилось не только мучительно-сладостное томление духа, но и протест против тисков домашнего быта, ограничивших самовыражение и сковавших Я. Он начал роптать, ему стало душно¹¹¹. И кто, как не Байрон, певец мировой скорби и сильной личности, мог стать вдохновителем этого протеста?! Скорбный взгляд на весь миропорядок и желание реализовать свою самостоятельную личность, то есть основы философии, психологии и этики байронизма, весьма гармонировали с мироощущением Аполлона Григорьева. Чальд Гарольд – воплощение одиночества, мечтательной меланхолии и любви к свободе стал его кумиром. Однако Григорьев был еще далек от желчной мизантропии Манфреда и других крайностей демонической натуры.

«Успеху поэзии Байрона, – писал Н. Котляревский, – не мало способствовали как раз ее недостатки: неопределенность ее настроений и недосказанность ее мирозерцания. Намек или неясно формулированная

мысль, но выраженные красиво и образно, производят иногда сильное впечатление именно тем, что позволяют читателю приноровить их к себе, дополнить, видоизменить их по-своему, найти в них то, что хочется в них вычитать; и поэзия Байрона с ее неустоявшимися, иногда противоположными взглядами на мир и человека, с ее таинственным полумраком сердца и загадочностью психических движений позволяла многим предполагать в душе поэта родственную себе душу»¹¹². Так и Григорьева в Байроне притягивала пока только конструктивная сторона – недовольство налагаемыми на личность ограничениями. В его душе тогда не было места озлобленности.

Итак, мы вкратце представили настроения нашего героя перед выходом в самостоятельную жизнь. Грусть и стремление к иным мирам через освобождение личности – вот их основа. Но также надо подчеркнуть и расплывчатость, неоформленность этих настроений. Определенное направление они получили уже во время учебы.

Со сдачей вступительных экзаменов в 1838 году началась новая жизнь, целая эпоха в биографии критика. «На входном пороге этой эпохи написано: «Московский университет после преобразования 1836 года» – университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма, университет Грановского»¹¹³. Эпоха эта имела трагические последствия для Григорьева; она обрекла его на вечные страдания, на вечное балансирование на грани отчаяния, на судорожные хватания за любую мысль, объясняющую ему смысл его жизни и удерживающую от ухода в небытие. Но будет это чуть позже, а пока Аполлон преисполнялся радужными надеждами и стремлениями.

Домашний быт студента разнообразился. У него появился товарищ, с кем они «долго были братья»¹¹⁴ – Афанасий Фет. Фет тоже, как и Аполлон, поступил сначала на юридический факультет. Однако вскоре он перевелся, досдав греческий язык, на словесное отделение философского факультета – в это время в нем уже развилась страсть к сочинительству. Жил он в пан-

сионе Погодина, преподаватель которого, уже упомянутый нами историк Беляев и познакомил его с Григорьевым. Увлечение поэзией сблизило их. Фет стал часто бывать в доме товарища; и Григорьевы, видя его благонамеренность и заботясь о круге общения сына, стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы Афанасий упросил отца поместить его в их дом за самое умеренное вознаграждение. Переезд состоялся зимой 1839 года, и два друга разместились в соседних комнатах на антресолях.

«Наши обычные занятия, – вспоминал Фет, – состояли для Аполлона или в зубрении лекций, или в чтении; а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти»¹¹⁵. Григорьев был заворужен талантом своего друга. Он очаровывался стихами

Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
За окном играет буря,
Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки и вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».

Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот¹¹⁶.

Эта зарисовка приводила его просто в восхищение. Узнавая себя, он тихо повторял над ней: «Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик...»¹¹⁷. «Помилуй, братец, – продолжал он, впадая в меланхолическое расположение, – чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!»¹¹⁸. И Фет рифмованным эхом вторил ему:

Не ворчи, мой кот мурлыка,
В неподвижном полусне:
Без тебя темно и дико
В нашей стороне;

Без тебя все та же печка,
Те же окна, как вчера,
Те же двери, та же свечка,
И опять хандра...¹¹⁹

Все фетовские стихи «отличались в то время отчаянным пессимизмом, и трагизмом, воззваниями к кинжалу как к единственному прибежищу»¹²⁰, в чем очевидно сказывается влияние байронизма. Молодые люди, подражая великому англичанину, упивались своей меланхоличностью и жаждали страстей. Главным источником наслаждений был для них Большой театр с Мочаловым. В воспоминаниях Фета приводится следующая характеристика этого популярного тогда актера: «Мочалов совершенно не понимал Гамлета, игрой которого так прославился. Он по природе был страстный, чуждый всякой рефлексии человек. Эта страстность вынуждала его прибегать к охмеляющим напиткам, и тут он был воплощением того, что Островский выразил словами: «не препятствуй моему нраву». Потому он не играл роли необузданного человека: он был таким... Он не играл роли героя, влюбленного в Офелию или в Веронику Орлову: он действительно был в нее безумно влюблен. Он действительно считал себя героическим лицом... Зато сколько блистательных случаев представлял Гамлет Мочалову высказать собственную необузданность! Какое дело, что язвительность иронии Гамлета есть только проявление непосильного внутреннего страдания? Эта ирония – удобный случай порывистому Мочалову высказать свое безумное недовольство окружающим миром»¹²¹. Мочалов был так страшен в эти минуты, свидетельствует Полонский, что волосы вставали дыбом, и вся зрительная зала безмолствовала, потрясенная силой такого необузданного чувства¹²².

Активная личность все больше и больше становилась предметом стремлений Аполлона Григорьева. К концу первого курса он уже разочаровался в Ламартине, как герое слишком пассивном. Осмеянный Фетом, он стал бояться чтения недавнего кумира, как фрейлины Анны Иоанновны боялись чтения Тредьяковского. Товарищ познакомил его с Шиллером – знаменем молодежи 1830–х годов. Глашатай беззаветной и священной борьбы за освобождение и самореализацию личности, немецкий автор увлек юношу. О степени этой увлеченности мы можем судить по отрывкам написанной Григорьевым в то время драмы «Вадим Новгородский». Выбор сюжета говорит за себя. Вадим – новгородский посадник, вернувшийся из изгнания и организовавший заговор против Рюрика, установившего монархию и лишившего Новгород исконной свободы. Заговор Вадима раскрывается, он попадает в плен к варягу, где кончает с собой, не в силах смириться с торжеством несвободы и отвергнув предложение конунга стать соправителем. Образ Вадима был очень популярен в русской романтической традиции. К нему обращались В. Княжнин, В. Жуковский, М. Лермонтов, К. Рылеев. В основном в их произведениях новгородец предстает как герой–тираноборец, погибающий за свободу – природное право человека. Шиллерианские настроения здесь очевидны. Родственность Вадима и Карла Моора несомненна. Григорьев был поглощен своим героем до такой степени, что нередко разыгрывал сцены из его жизни. Так, излюбленным его эпизодом было возвращение Вадима в Новгород. Смастерив подобие кафтана из одетого на опашку шлафрока, Аполлон бросался на пол, восклицая:

«О, земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И три года те за целый век
Показались мне несчастному»¹²³.

Но шиллерианство, конечно, не исчерпывалось борьбой с деспотами. Борьба за освобождение личности была только первым шагом в развитии этой личности. Человек, по мысли Шиллера, должен был открыть в себе божественную сущность, свою причастность к космосу. Вот выход и спасение для личности, и только на этом пути личность станет истинно свободна. Жизнь только представляется мрачной и безрадостной; закон бытия – радость, образ человека божественно–прекрасен. Лучший мир обретается самопознанием через проникновение в законы бытия. Познавая, борешься и освобождаешься.

В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь...

Для Григорьева этим путем представлялся путь науки. С реализацией себя на этом поприще он связывал обретение самооценности, идентичности. Наука представлялась ему (как благодаря внушению родителей, так и обществу Сергея Ивановича) особым миром избранных, посвященных, идентифицироваться с которыми он страстно желал. В этом стремлении, берущем начало из разных источников, смешались две разные мотивационные установки.

С одной стороны, учеба была для него единственным способом выделиться, избавиться от комплекса неполноценности перед сверстниками. Одни превосходили его талантом, как Фет и Полонский, от чего он, в тайне мечтая о славе литератора, приходил в отчаяние:

Я не поэт, о, Боже мой!
Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито насмехались
Судьба и люди надо мной?¹²⁴

Другие, как Орлов и Новосильцев, знатностью. Они обладали «дворянской честью» перед ним, числящимся только слушателем (как представитель податного сословия), не имеющим права на офицерский чин. Григорьев ощущал себя смущенным перед ними и в тайных мыслях проклинал судьбу, почему он не аристократ¹²⁵.

Есть описание переживаний Аполлона перед экзаменом: «И вот раздается голос – его зовут, он трепещет, ибо он знает, что хоть здесь должен быть первым, ибо он честолюбив и горд, бедный ребенок. Какими муками искупает он минуты своих академических торжеств!»¹²⁶. Он работал не поднимая головы, заучивая конспекты наизусть. Он плакал над учебниками, посвященными наукам, к которым не имел расположения, он постоянно дрожал от мысли об отчислении, но зато он был круглым отличником. Его сочинения хвалил сам попечитель¹²⁷, Грановский обратил на него внимание¹²⁸, Крылов, профессор римского права, приглашал обедать¹²⁹.

С другой стороны, Аполлон верил, что став ученым, он выполнил бы сыновний долг, оправдав надежды родителей; что он стал бы самостоятельным от их авторитета, от нравоучений отца, апеллирующего к своему пансионскому образованию; а главное, посвящая себя знаниям, он мог бы стать подобен людям из кружка Сергея Ивановича, людям, имеющим в его глазах абсолютную значимость. Наука была для него синонимом истины как онтологически, так и этически. Быть в науке значило быть счастливым. Мы знаем его чувства того времени: «он там, куда рвался давно, он сидит на лавке против кафедры, он слушает, он усердно слушает, ибо это его единственно спокойные минуты; в голове совершается умственный процесс, идея вяжется за идею, великолепное здание является перед очами духа... он готов до бесконечной преданности привязываться к глашатаям истины, он думает еще, что есть люди, которые больше него разумеют цель жизни»¹³⁰.

Таким образом, мы видим в Аполлоне Григорьеве как честолюбивые побуждения, так и идеалистические стремления. И те, и другие были направлены на самореализацию, обретение самооценности. Честолюбивые помыслы, рожденные общей болезненной неуверенностью в себе из-за условий воспитания, а так же родительскими амбициозными внушениями, нашли свое удовлетворение – Григорьев окончил курс лучшим. Идеалистическая же вера в науку – плод общения с учителями, увлечения роман-

тической поэзией и жажды обретения собственной идентичности – достаточно быстро рухнула, ввергнув юношу в глубокий внутренний кризис. О причинах катастрофы мы теперь и поговорим.

Юность нашего героя припала на время философской эпохи 1830–х – 1840–х годов. На время, когда философия стала особой формой жизни русского общества. Стремление добыть смысл бытия из глубин, скрытых непосредственной действительностью овладело умами. Властителем дум становится Гегель, предложивший универсальную философию для проникновения в глубины реальности. «Нет почти человека, – описывал происходящее И. Киреевский, – который бы не говорил философскими терминами; нет юноши, который не рассуждал бы о Гегеле; нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно было бы влияния немецкого мышления; десятилетние мальчики говорят о конкретной объективности»¹³¹.

Гегельянские настроения проникли очень глубоко и в Московский университет. С. Соловьев, учившийся там одновременно с Григорьевым, писал, что «время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель вскружил всем головы»¹³².

Университет зажил новой жизнью. С приходом на пост попечителя графа С. Строганова и изданием в 1835 году нового университетского устава открылся простор для новых идей. Богословие перестало довлеть над светскими науками, была ограничена цензура, преподавание стало основываться не на энциклопедизме, а на профессиональном изучении лектором своего предмета. Вдохновителями философского энтузиазма стали молодые профессора, вернувшиеся со стажировки в Германии и наполненные мыслями немецкого философа. Теперь студенты не зевали и не перешептывались на лекциях, как это было во времена Герцена, под монотонно–бессмысленную речь старого профессора, читающего не понятно о чем. Теперь слышался только скрип перьев и ни малейшего шума. Студенты были прикованы к стройным объяснениям молодых преподавателей,

претендующих в своих лекциях на раскрытие универсальных основ бытия. Наука и гегельянство стали синонимами, одно не мыслилось без другого. Принадлежность ученого к адептам философии Духа была для многих критерием истинности его речей.

На юридическом факультете во главе сторонников нового подхода стояли преподаватели энциклопедии законоведения П.Г. Редкин; римского права Н.И. Крылов и римской словесности Д.Л. Крюков.

Редкин, говорит о нем Б. Чичерин, «был весь проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни; он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению мысли; мы стремились сознать верховное начало бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом»¹³³. Несмотря на схематическую сухость, его лекции приучали к логической последовательности мысли, к внутренней связи философских понятий и нередко, «несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию»¹³⁴.

Отличительными чертами Крылова студентам представлялись «широкий ум, образность выражения, умение понять самые тонкие черты института и выставить их ярко»¹³⁵.

«У Крюкова, – вспоминает Соловьев, – был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы... Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом, и, разумеется, ошеломил нас, гимназистов, взбудоражил наши головы»¹³⁶.

Григорьев, конечно, не мог остаться в стороне от новых веяний. С помощью Фета он освоил немецкий язык и уже к середине второго курса мог самостоятельно читать Гегеля¹³⁷. В первую очередь он освоил «Философию права»¹³⁸. Идеи, изложенные в этом произведении, касались в пер-

вую очередь вопросов этики. На наш взгляд, многие из них, несмотря на последующее отрицательное отношение Григорьева к Гегелю, оказали значительное влияние на мировосприятие критика. Мы вкратце остановимся на содержании вышеуказанного трактата.

Высшим достижением для человека Гегелем признается жизнь в соответствии с движением Духа, божественного Смысла, первоосновы и перводвигателя мироздания. Только слияние с божественной волей истинно освобождает человека от любых ограничений. Слияние с божественным возможно только на основе разумного постижения законов бытия и направления его развития, то есть принятия основных идей Гегеля и логики как единственного надежного инструмента познания. Чувства и ощущения совершенно не пригодны для этого. Поняв смысл мироустройства, человек открывает в своей душе присутствие божественного начала, которое, составляя его совесть, позволяет свободно реализоваться, не опасаясь за содержание своих действий. Человек, постигнувший Субстанцию, всегда добродетелен, поскольку Бог познает себя через его поступки. Предмет же и мотивы своих поступков добродетельный человек видит в общечеловеческой сфере: «его цель есть всеобщая цель, его язык есть всеобщий закон, его дело есть всеобщее дело»¹³⁹. Добродетель, нравственность не тождественны морали. Нравственность, как было показано, – это жизнь Бога в душах людей и жизнь людей в соответствии с целями Субстанции. Мораль – возведенный в правило частный случай, следование которому далеко не всегда совпадает с божественной волей и часто вырождается в фарисейство и ханжество.

Таким образом, идея божественного присутствия в просветленной душе, приветствование воли, направленной на общественное благо, и недоверие к морали – вот те основы гегельянской этики, которые окажут принципиальное влияние на Григорьева. Достаточно внимательно взглянуть на его поздние суждения, и в них отчетливо проступят следы идей его первого врага, усвоенных в доверчивой юности.

Энтузиастом гегелевской философии он сделался уже к концу второго курса. «Бывало, – вспоминал он лет двадцать спустя, – в пору ранней молодости и нетронутой свежести всех физических сил и стремлений, в какое–нибудь яркое и дразнящее, зовущее весеннее утро, под звон московских колоколов на Святой – сидишь, весь углубленный в чтение того или другого из безумных искателей и показывателей абсолютного хвоста... сидишь, и голова пылает, и сердце бьется – не от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно–наркотическим воздухом призывов весны и жизни, а от тех громадных миров, связанных целостью, которое строит органическая мысль; или тяжело, мучительно роешься в возникших сомнениях, способных разбить все здание старых душевных и нравственных верований и физически болеешь, худеешь, желтеешь от этого процесса»¹⁴⁰. Он слишком углубился в отвлеченные материи и далеко ушел от большинства сокурсников. «Большую частью, они даже не читали Гегеля, – говорил И. Киреевский. Из читавших иной прочел только применение начал философии к другим наукам, иной читал одну эстетику, иной только начал читать его философию истории, иной прочел только конец его философии истории, тот несколько страниц из логики, тот видел феноменологию; бóльшая часть читала что–нибудь о философии Гегеля, или слышала о ней...»¹⁴¹. В основном, свидетельствует С. Соловьев, с Гегелем знакомились из лекций молодых профессоров¹⁴². Аполлон, желая общения по интересующему его предмету, собрал вокруг себя небольшую группу студентов, которые, по его мнению, также живо интересовались современной философией и наукой. «Как это сделалось, – вспоминает Фет, – трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова, А. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что московский универси-

тет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, а его шу-рин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записы-вавший лекции и находивший еще время давать уроки будущий историко-граф С. Соловьев. Он, по тогдашнему времени был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал нас из беды. Яв-лялся веселый, иронический князь В. Черкасский (будущий известный дея-тель крестьянской реформы. – *П.К.*), со своим прихихикиванием через зу-бы... В небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров, взрывов смеха...

– Позвольте, господа, – восклицал добродушный Н. Орлов (сын про-славленного опального генерала. – *П.К.*), – доказать вам бытие Божие ма-тематическим путем. Это неопровержимо.

– Конечно, – кричал светский и юркий М. Жихарев (родственник и будущий биограф П.Я. Чаадаева. – *П.К.*), – Полонский несомненный та-лант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Костарев (студент юридического факультета, из крестьян, поэт–любитель байронического толка. – *П.К.*):

Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.

– Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

– Натянута мысль, – говорит прихихикивая Черкасский, – не все-гда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно про-тивоположное качество.

– Это качество, – пищит своим фальцетом Новосильцев, – имеет не-сколько степеней: il y a des sorts simples, des sorts graves et des sorts super-fins.

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявший несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил его встречать у нас наверху еще до прихода многочисленных и задорных спорщиков, так

как надеялся услышать новое его стихотворение, которое читать в шумном собрании он не любил...

Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя московского университета. С величайшим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками кудрявый К. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка. Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный А. Студицкий (студент–словесник, впоследствии малоизвестный литературный критик. — П.К.)»¹⁴³. Все они были либералами–идеалистами, в том смысле, что свобода личности представлялась им вершиной и абсолютной жизненной ценностью. Все они поэтому мечтали об освобождении крестьян и считали, что

пока

Наш мужичок без языка,
Славянофильство не возможно,
И преждевременно, и ложно¹⁴⁴.

Однако главными для них были вопросы философские¹⁴⁵. Как протекали философские споры мы, к сожалению, не знаем. Но не это важно. Важно то, что Григорьев оказался в атмосфере преклонения перед чистым разумом, логикой. И он не просто был среди адептов рациональности, он вообразил, что гегельянство единственно объективный взгляд на вещи. Позднее он признавался, что в то время,

...веря одному уму,
Привык он чувства рассекать
Аналитическим ножом¹⁴⁶.

Показательно, что специально для Аполлона Орлов составил философическую записку, в которой убеждал друга, что «необходимо в процессе умозрения и размышлений философических советоваться с нашим природным чувством»¹⁴⁷. Также интересно, что ему тогда был глубоко симпатичен такой человек как Иринарх Введенский. Говорили, что его исключили из

Троицкой духовной академии за страсть к дочке тамошнего полицмейстера. Он оказался в Москве и, поскольку владел многими языками и не требовал большого вознаграждения, устроился в пансион Погодина. Там он познакомился с Фетом, который писал эпиграммы на его конкурентов в Сергиевом Посаде, и потом с Григорьевым. «Не помню в жизни, – говорил Афанасий, – более блистательного образчика схоласта. Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и софизмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей легкостью»¹⁴⁸. Постепенно имя Гегеля стало столь популярным в доме Григорьевых, что слуга Иван, сопровождавший молодого барина в театр, как-то раз, не в меру выпив, крикнул при разъезде вместо: «Коляску Григорьева! – коляску Гегеля!»¹⁴⁹.

Но эта безраздельная увлеченность апологетом рациональности и погубила молодого человека. Для него, как человека эмоционального, доминирование в сознании рациональности было психологически неприемлемо. Постепенно Григорьев оказался в тупике, его душу раздирали две совершенно разнонаправленные силы.

Внешне это выглядело так. Опираясь на логические умозаключения, молодой человек уже в 1840 году пришел к отрицанию Бога. Члены кружка, которые признавали бытие Творца (Соловьев и Орлов), доказывали это следующим образом: все в мире стремится к совершенству, но полного достижения совершенства на земле нет, следовательно «должно предположить вне материи и человечества существование идеи Высшей Премудрости, Изящества и Блага, в коей одной лежит высочайшее наслаждение. Эта идея есть Бог».¹⁵⁰ Григорьев, отталкиваясь от этой посылки и ведомый не присущей ему, а потому крайне прямолинейной логикой, доказывал обратное. Поскольку Бог есть совершенство, а на земле совершенство проявляется через усовершенствование, то есть оно бесконечно и вечно, то для человека совершенства нет, поскольку человек конечен. Следовательно, Бога нет¹⁵¹. Таким образом, рационализм стал для него тесно сопрягаться с

атеизмом. До поры до времени, это не составляло для него сколько-нибудь значимой задачи. Увлеченность наукой составляла предмет его верований. Однако к концу университетского курса, то есть в 1842 году, его психологическая сущность проявила себя, чувство потребовало достойного для себя места. В сознании Аполлона это проявилось в жажде веры. Но драматичность ситуации и заключалась в том, что возвращению к своей внутренней сущности ему мешали сознательно принятые мировоззренческие установки. «О! эти бессонные ночи, – вспоминал он, – когда с рыданием падалось на колени с жаждою молиться и мгновенно же анализом подрывалась способность к молитве – ночи умственных беснований вплоть до рассвета и звона заутрень»¹⁵². Все его попытки найти гармонию с собой на старых основаниях оставались тщетными: «О боже! – писал Григорьев, – жадно я стремился ко всему, чем примиряются другие, жадно искал я веры в знании и знания веры. Но для меня был безжизненен остов науки, отвергающий всякую веру, – и между тем этот безжизненный остов лишил меня последней искры веры, последней возможности молиться. И то, что он давал мне в замену беззаветного, детского лепета молитвы, было так пусто и голо, так бессвязно и отрывочно»¹⁵³. «В этот период, – пишет Фет, – Григорьев от самого отчаянного атеизма переходил одним скачком в крайний аскетизм и молился перед образом, налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свече»¹⁵⁴. Конфликт, как показало время, мог быть разрешен только при условии радикального отказа от всех стереотипов сознания последних пяти лет жизни, поскольку все они так или иначе требовали доминирования рациональности (от признания гегельянства за основу мировоззрения до стремления к научной карьере). То, что Григорьев поначалу никак не сознавал необходимости этого, а, напротив, стремился сохранить *status quo*, доказывает психологическую, а не философскую природу конфликта.

Аполлон все больше и больше попадал во власть черной меланхолии. Он «страдал самой невыносимой хандрой, неопределенной хандрой

русского человека, не зензухтом немца, по крайней мере наполняющего его голову утешительными призраками, не сплином англичанина, от которого он хоть утопиться в пинте пива, но безумной пеленой, русской хандрой, с которой и скверно жить на свете, и хочется жизни»¹⁵⁵. Однако первые год – полтора после окончания университета он отчаянно сопротивлялся голосу своей натуры. Он не верит больше в науку, которая обманула его, приведя не к абсолютной творческой свободе, а в чистилище. Ученость оказалась ложной дорогой к реализации высших потребностей человека: серьезно ею заниматься могут или лжецы или ограниченные филистеры¹⁵⁶. Однако жизнь окружающих, увлеченно продолжающих заниматься академическими штудиями, была для него упреком. «Он винит себя за то, что не видит цели в мертвых отвлечениях науки, он презирает самого себя, он рыдает целые ночи, он мучит себя целые дни над книгами... а взгляд его на жизнь не просветлел нисколько»¹⁵⁷. Этические стереотипы, призраки утраченных надежд делали свое дело и Аполлон «считал себя обязанным обманывать всех и каждого ревностью к науке и изученными энциклопедическими познаниями»¹⁵⁸, готовясь к магистерскому экзамену и работая над статьей о семейном праве¹⁵⁹. Это было для него пыткой: он ненавидел себя за ложь перед собой и другими и в то же время за невозможность «премировать»¹⁶⁰, невозможность «привязаться к чему-нибудь, как они»¹⁶¹. Григорьев признавался, что последнее «вытекает из одного принципа, из гордости, которую всякая неудача только злобит»¹⁶². Так он запечатлел себя в поэтических зарисовках:

И снова ночь, но эта ночь темна,
И снова дом – но мрачен старый дом
Со ставнями у окон: тишина
Уже давным-давно легла на нем.
Лишь комната печальная одна
Лампадою едва озарена...
И он сидит, склонившись над столом,
Ребенок бедный, грустный и больной...

На нем тоска с младенчества легла,
Его душа, не живши, отжила,
Его уста улыбкой сжаты злой...¹⁶³

Трудно сказать, чем бы закончилось это безысходное блуждание по порочному кругу переплетенных потребностей и амбиций, если бы в жизнь Григорьева не вошла любовь.

В начале 1842 года декан юридического факультета Н.Крылов, покровительствующий Григорьеву за его учебные успехи, стал приглашать Аполлона по воскресеньям на чай. Профессор был женат на генеральской дочери, считавшейся тогда одной из первых красавиц Москвы, Любви Корш. Она познакомила Григорьева со своей семьей, в которой было еще две незамужние сестры: старшая Антонина и младшая Лидия. «Надо сказать правду, — замечает Фет, — что хотя младшая далеко уступала старшей в выражении како-то воздушной грации и к тому же, торопясь высказать мысль, нередко заикалась, но обе они, прекрасно владея новейшими языками, музыкой и, при известном свободомыслии, хорошими манерами, могли для молодых людей быть привлекательными»¹⁶⁴. Григорьев, спасаясь от хандры, начал часто бывать у Коршей, поскольку в другие дома он, проводя годы за учебниками, не был вхож: во время учебы родители редко отпускали его к кому-нибудь и не разрешали задерживаться более девяти часов¹⁶⁵.

В Антонине Корш он увидел сочувствие к своим страданиям. Он мог говорить с ней более свободно, потому что она была вне круга его обычных знакомых и перед ней не надо было играть роль молодого ученого. «С нею я, — говорил он, — нарочно утрируя, может быть, смеюсь над всеми отношениями. Она слушает меня без пошлых ужасов, но так внимательно, что я начинаю видеть в ней даже больше ума, чем надеялся увидеть»¹⁶⁶. Вскоре он уже был бесповоротно влюблен. Любовь представлялась ему окончанием всех горестей: нет больше одиночества, нет больше ощущения потерянности, вины и недостойности, нет больше борьбы с грубым миром,

к которому он чувствовал себя безнадежно неприспособленным. Любовь в его глазах обещала защиту, поддержку, нежность, понимание:

Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.

Когда из—под темной ресницы
Лазурное око сияет,
Мне тайная сила зеницы
Невольно и сладко смыкает...

И спит, убаюкано морем,
В груди моей сердце больное,
Расставшись с надеждой и горем,
Отринувши счастье бывшее.

И грезится только иная,
Та жизнь без сознания и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели¹⁶⁷.

Ее лицо слилось для него с первыми грезами детства, это было «одно из тех лиц, на которых странно—гармонически сливаются и чистота младенческой молитвы, и первые грешные мечты, поднимающие грудь женщины, и детско—простая улыбка ангелов Рафаэля, и выражение лукаво—женского кокетства»¹⁶⁸. «По целым дням, — писал Григорьев, — лежал я в забытии, припоминая ее черты, ее легкую походку, слыша волшебные звуки ее голоса... С нею замолк мой ропот на одиночество, на бесплодность моей жизни... помню младенчески ясное, беззаботно—довольное чувство, владевшее мною в то утро... чувство свободы, чувство любви, чувство жизни без завтра»¹⁶⁹. Однако, как большинство влюбленных, в ее присутствии он стал ощущал себя крайне скованно, эта неловкость усугубила его общее от-

чуждение от общества из-за собственного комплекса неполноценности, описанного выше. Следует отметить также и объективную сторону этой отчужденности. Григорьев не получил светского воспитания, не обладал тонкостью манер и не мог соответствовать идеалу светского человека — «личности разнообразных, но уравновешенных настроений, эмоций и интересов, способной играть разнообразные роли»¹⁷⁰. Он был угловат, неловок и однообразен, мог говорить только на те темы, которые его волновали. В гостиных на него обращали мало внимания, что уязвляло его самолюбие. Многоликость и максимальная приспособляемость светского человека, которые в самом светском обществе воспринимались как высоко-нравственное поведение, необходимое для общественного согласия, Григорьеву, как человеку иной культуры, представлялись в виде самодовольства, непостоянства, лицемерия и обмана. Это способствовало утверждению во взглядах нашего героя антиаристократических настроений¹⁷¹.

Вот некоторые дневниковые записи Григорьева, сделанные весной 1843 года, описывающие очередной вечер у Коршей: «Наехало много народу — весь почти этот круг, которому я так страшно чужд, в котором так возмутительно ложно мое положение. Что общего между ними и мною? Все общее основано на обмане, на ожидании от меня чего-то в их роде...зачем мне дано видеть все это, зачем во мне нет *suffisance**... Я становлюсь невыносим моей хандрою, моей неловкостью...за ужином мне было по обыкновению гадко и неловко до невозможности; я сидел возле Никиты Ивановича (Крылова. — П.К.) и должен был рассуждать о чем-то, когда мне, право, было не до рассуждений, когда мне было все гадко и ненавистно, кроме этой женщины, которую я люблю страстью бешеной собаки...Кавелин говорит с ней свободно, садится подле нее и не отходит целый вечер, а я с каждым днем глупею и глупею до невыносимости. Для чего я так глупо создан, что не могу совладать с тяготящею меня ханд-

* Самодовольства.

рой?.. я почти молчал, как идиот – и это положение вольной и вместе невольной глупости было мне до бесконечности тяжело»¹⁷². Антонина заметила мгновенную перемену и старалась узнать причину замкнутости. Аполлон не мог быть более искренним – он стыдился своей слабости. Ему надо было оправдаться перед собой и перед другими: он одел – уже, в свою очередь, диалектически вошедшую в ту же светскую моду – байроническую маску испытавшего роковые страсти и рано пресытившегося человека. Одно из стихотворений, написанных летом 1843 года очень красноречиво:

Нет, никогда печальной тайны
 Перед тобой
 Не обнажу я, ни случайно,
 Ни с мыслью злой...
 Наш путь иной... Любить и верить –
 Судьба твоя;
 Я не таков, и лицемерить
 Не создан я.
 Оставь меня... Страдал ли много
 Иль знал я рай
 И верю в жизнь, и верю ль в бога –
 Не узнавай...
 И обо мне забудь иль помни –
 Мне все равно:
 Забвенье полное на век мне
 Обречено¹⁷³.

Избраннице его показалось, что она обманулась в нем, и что это натура гордая и раздражительная¹⁷⁴. Она предпочла Григорьева веселому и непринужденному Кавелину.

Все эти перипетии были крайне мучительны. Он совсем потерялся. Общение с друзьями вызывало досаду от непонимания, от их упрекающей благополучности – он порвал с ними. Служба была скучна и однообразна. Он оказался полностью не способен к работе ни в университетской биб-

лиотеке, ни на посту секретаря Совета университета. Домашняя обстановка вызывала отвращение, догматизм родителей ничуть не ослаб. Двадцатидвухлетний чиновник должен был ходить к маменьке для расчесывания волос и нравоучений. Положение становилось нестерпимым. Неудача в личных отношениях стала последней каплей. Классическим, литературно–санкционированным выходом было самоубийство. Но Григорьев прочно усвоил себе идеал сильной личности и где–то в глубине души еще верил в собственные силы. «О да! – восклицал он сквозь отчаяние, – есть она, есть эта великая вера, наперекор филистерам, вера в человека; наперекор духовному деспотизму и земной пошлости, наперекор гнусному догмату падения. Человек пал, но вы смеетесь, божественные титаны, великие боготорцы, вы смеетесь презрительно, вы гордо подымаете пораженное громами рока, но благородно–высокое чело, вы напрягаете могущественную грудь под клювом подлого раба Зевса... Боритесь же, боритесь, лучезарные, – и гордо отриньте от себя надежду и награду»¹⁷⁵. Гордость погубила его, но гордость его и спасла, дав надежду. Он решается порвать со всем и искать оправдание своему существованию на некоей другой основе. Что и как будет дальше он не знал, он бросался в бездну – в феврале 1844 года тайно от всех он уезжает в Петербург.

Таким образом, университетский период для Аполлона Григорьева закончился тяжелым психологическим кризисом. Мы так подробно остановились на этом отрезке жизни нашего героя, поскольку в нем находятся истоки определяющего для позднейших взглядов критика иррационализма. Эмоциональная природа нашего героя не смогла принять навязываемую культурной средой доминанту рациональности. Только что выстроенная система ценностей рухнула, похоронив веру в науку, в гегельянство как в пути освобождения личности; в либеральных ученых как носителей истины. Но Григорьев сохраняет изначальную, структуро–образующую этическую установку: веру в высшую природу человека, в необходимость и

возможность ее обнаружения и раскрытия. Это толкает его на продолжение попыток самореализации.

Глава 3. Блуждания (1844 – 1850).

“Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, – читаем в “Литературных и нравственных скитальчествах”, – я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности... В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической...”¹⁷⁶.

Пребывание Григорьева в северной столице явилось апогеем душевного кризиса его юности и непосредственным толчком к последующему психологическому перелому. К несчастью, этот драматический отрезок весьма слабо документирован; мы лишены возможности наблюдать внутренние состояния и интеллектуальные увлечения Аполлона в той полноте, в какой хотелось бы. Зачастую есть только косвенные свидетельства. Однако при недостатке материала для полутонов, основная линия мировоззренческого становления литератора представляется недвусмысленной.

Уехав из Москвы 27 февраля, Аполлон должен был оказаться в Петербурге 1 марта. Вторым марта датировано его прошение ректору университета о продлении отпуска. Больше университетский Совет секретаря Григорьева не увидел. Юноша считал, что пора расквитаться с “софистической жизнью”; он “бросился искать положительной деятельности и думал найти ее в службе”¹⁷⁷.

В конце марта 1844 года он пытается устроиться в хозяйственный департамент Министерства Внутренних Дел. Однако, при отсутствии видимых препятствий, туда не поступает. Уже в июне того же года мы видим его на службе канцеляристом второго департамента Управы благочиния, то есть, городской полиции. В декабре он переводится в I отделение V департамента Сената, занимающееся уголовными делами. Не надо быть тонким знатоком человеческой души, чтобы предположить, что при характере Григорьева и в том состоянии, в каком он находился – со службой должно

было обстоять не все благополучно. «Служу, – пишет он Соловьеву, – то есть, покоряюсь необходимому злу и, признаюсь, даже без надежды встать на этом поприще довольно высоко... Скверно, крайне скверно! О том ли мы мечтали с тобою?»¹⁷⁸ 21 июня 1845 года министру юстиции обер-прокурором I отделения V департамента Правительствующего Сената Долгополовым был подан рапорт, в котором говорилось, что Григорьев «постоянно оказывал себя к службе нерадивым и к должности являлся весьма редко, несмотря на многократные напоминания со стороны экзекутора, отзываясь при том каждый раз болезнью; но когда, по распоряжению моему, был командирован доктор для освидетельствования его в состоянии здоровья, то не застал его дома»¹⁷⁹.

Надобно представить повседневный быт молодого человека, чтобы понять, насколько запутанным и безысходным было его положение.

Все также тяжело удручен
Ипохондрической тоской¹⁸⁰,

«он жил какой-то скитальческой жизнью,...не обзавелся ничем, чем обыкновенно обзаводятся порядочные люди. Комната его была почти пуста, потому что все, что можно было заложить, давно уже лежало в залоге... Квартыры переменил он аккуратно почти через два месяца, потому что, заплативши обыкновенно вперед за первый, – он имел привычку до того откладывать на завтра плату за второй, что хозяин обыкновенно являлся к нему с надзирателем, – и тогда начиналось кочевание по чужим квартирам, отвратительно печальное положение, от которого часто бывали с ним нервные горячки»¹⁸¹. Подыскав новую квартиру, «он обыкновенно лежал, не вставая с постели, целую неделю, наслаждаясь полною свободою и удобством хандрить, потом хандра же его выгоняла из дому и он исчезал по целым дням»¹⁸². Днем он бродил по городу. «Без сознания и цели шел он, казалось, повинуюсь какой-то внешней силе, сгорбясь, как бы под тяжестью, медленно, как поденщик, который идет на работу. Он был страшно худ и бледен, и его впалые глаза, которые одни почти видны были

из-под шапки, только сверкали, а не глядели. Изредка, впрочем, останавливался он перед окнами магазинов, в которых выставлены были эстампы, и стоял тогда на одном месте долго, как человек, которому торопиться во все некуда, которому все равно, стоять или идти»¹⁸³. Заходя в кондитерские на Невском, Аполлон «занимался изысканием средств, как бы можно было вовсе не заниматься ничем на свете...убедившись окончательно в невозможности ничегонеделания», он начинал придумывать, как бы чем-нибудь заняться, «но день, неумолимо длинный день представал во всем своем ужасающем однообразии»¹⁸⁴. Вечерами тоска гнала его в кабаки, карточные притоны, к цыганам, — так что слухи о григорьевских похождениях достигли Москвы и дали повод бывшему его покровителю — Крылову — предостерегать отправляющихся в Петербург кандидатов от знакомства с бывшим своим учеником¹⁸⁵.

Хандра усугублялась внутренней раздвоенностью. «Не удовлетворенный ничем, что удовлетворяет других, — свидетельствует литератор, — я еще не считал себя и правым, я мучился своим уродством»¹⁸⁶. Лишенный внутреннего фундамента в результате кризиса, описанного в предыдущей главе, Аполлон Александрович еще долгое время оставался сам для себя потерянным, внутренне дезинтегрированным. 1842–1846 годы — тяжелый кризис идентичности в его жизни: он, так сказать, повис в воздухе — старые психологические механизмы оказались неэффективны, новые не были найдены. «О! состояние безличности страшно! — говорит один из его автобиографических персонажей, — я был в том состоянии, был долго, до того долго, что сам начал было сомневаться в существовании у себя личности»¹⁸⁷. Природная самость — *замкнутое консервативное чувство* — оставалась для него неоткрытой, обрекая все попытки самообретения на безрезультатность. Отсутствовала психологическая база, на которую могли быть привиты модели поведения, литературные образцы или философские идеи. Аполлон долго не мог обратиться *к себе* в поисках разрешения конфликта: он упорно старался обновить вино, обновляя мехи.

Поэтому все пути примирения с собой для молодого человека оказывались тупиковыми.

Как мы видели, страстное желание быть человеком *положительным* было несовместимо с тоской и тяжелой апатией. После рапорта обер-прокурора непутевый чиновник был снова переведен в Управу благочиния, но и в ней прослужил только до ноября 1845 года, подав прошение об отставке «за болезнью». Характерно, что и после *fiasco* он продолжает искать компромисс. У него рождается идея уехать в Сибирь учителем гимназии – там больше оклад и спокойнее. Этим он оправдывается перед собой и перед московскими знакомыми¹⁸⁸. Однако в одном месте он все-таки проговаривается об истинных мотивах – «там мне будет полная свобода хандрить и скучать»¹⁸⁹.

Проявление стремления к *положительности* мы видим и в его желании держать экзамен на магистра права. Пршение в Петербургский университет он подает в апреле 1845 года. Очень выразительно объяснение этого поступка в письме к Погодину от 29 октября того же года: «В январе я собираюсь держать магистерский экзамен. Зачем? – спросите Вы – просто из самолюбия и уж, конечно, менее всего из ревности к юриспруденции, которую всю, как Вы знаете, считаю я страшною ложью на Духа Святого, то есть клеветою на человека и человечность»¹⁹⁰. Не трудно догадаться, что и эта идея осталась неосуществленной.

С другой стороны, как свидетельствует Фет, Григорьев рассчитывал реализоваться в столице как литератор¹⁹¹. И здесь тоже ждала неудача. Активно сотрудничать в журналах он начал со второй половины 1845 года – тогда служебные дела уже не отвлекали. В основном, его статьи помещались в «Репертуаре и Пантеоне» В.С. Межевича, о котором подробнее мы поговорим ниже. Посвящены они были, как правило, текущим театральным событиям и, нося характер отчета, не замечались современниками. Больше внимание уделялось его стихам. Помимо отрывочных журнальных публикаций, в феврале 1846 года вышел единственный прижизненный

сборник поэта – «Стихотворения Аполлона Григорьева». Два основных мотива составляют его. Первый – байроническая личность героя, опустошенная и разочарованная, но гордая своим страданием, своей непохожестью на остальных. В предыдущей главе мы видели источник происхождения этой маски. Теперь к нему добавилось желание самооправдания через приобщение к художественной традиции. Другой мотив – любовь лирического героя. Это чувство поэтом мыслится как столкновение двух родственных душ. Столкновение – поскольку женский образ представляется ему также байронически окрашенным. Это любовь двух эгоизмов, обреченная на взаимное непонимание:

Лежала общая на них
 Печать проклятья иль избранья,
 И одинаковый у них
 В груди таился червь страданья.
 Хранить в несбыточные дни
 Надежду гордую до гроба
 С рожденья их осуждены
 Они равно, казалось, оба.
 Но шутка ль рока то была –
 Не остроумная нимало, –
 Как он, горда, больна и зла,
 Она его не понимала.¹⁹²

Этими образами юноша утешал себя в несчастной любви. Но жизнь была прозаичнее – в августе 1845 года Антонина Корш вышла замуж за совсем не демонического Кавелина.

Одновременное существование в Аполлоне двух полярных настроений – стремления к положительности и байронической отчужденности – трудно объяснить как-либо иначе, кроме его внутренней безосновности, расщепленности, а также инерционности: попыток настойчивого следования прежней модели поведения, выработанной еще в университетские годы. Дезинтегрированность поэта почувствовали уже современники. «Мы

прочли ее (книгу стихов. – П.К.), – пишет в рецензии В. Белинский, – больше, чем с принуждением – почти со скукою. Дело в том, что из нее мы окончательно убедились, что он не поэт, вовсе не поэт. В его стихотворениях прорываются проблески поэзии, но поэзии ума... Видишь в них ум и чувство^{*}, но не видишь фантазии, творчества, даже стиха... Везде одни рассуждения, нигде образов, картин. Г. Григорьев силится сделать из своей поэзии апофеозу страдания; но читатель не сочувствует его страданию, потому что не понимает ни причин его, ни характера – и мысль поэта носится перед ним в каком-то тумане... Проглядывает скептицизм, отзывающийся больше неуживчивостью беспокойного самолюбия, нежели тревогами беспокойного ума»¹⁹³. Упреки в искусственности и натянутости проходят через все рецензии на «Стихотворения Аполлона Григорьева»¹⁹⁴. Да и сам автор позже признается: «В 1846 году я... со всем увлечением и азартом городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую»¹⁹⁵.

Растерянность видна и в философских поисках. В Петербург Григорьев приехал масоном. Знакомство с тайным орденом состоялось, вероятно, во второй половине 1843 года. По крайней мере, сам Григорьев говорил, что едет в столицу на масонские деньги¹⁹⁶. В Москве тогда было около ста членов братства в семи обществах. Самое крупное и влиятельное из них – ложа «Ищущих манны» – было непосредственно связано с университетом: его главой был директор университетской типографии П.А. Курбатов. В целом же, масонство, вследствие запрета 1822 года, находилось в упадке. «Если и бывают у них собрания, – сообщал московский генерал-губернатор Д.В.Голицын, – то оные совершенно ничтожны, соберутся не более пяти-шести человек и вместе разговаривают о религии, занимаются пением и игранием на органе духовных псалмов»¹⁹⁷. Однако романтический ореол вокруг ордена был достаточно устойчив – его культивировала романтическая литература. Что касается Григорьева, то он к обраще-

* Имеется в виду пафосность.

нию был подготовлен произведениями Жорж Санд. «Восстанавливать справедливость, покровительствовать слабым, сдерживать тиранию, поощрять и вознаграждать добродетель, распространять принципы высокой нравственности, оберегать священную сокровищницу чести – такова во все времена была миссия знаменитой и почтенной корпорации, истинных служителей божьих, – говорится в «Графине Рудольштадт», одном из главных «масонских» романов. – Взгляните на человеческие предрассудки и заблуждения, взгляните – и вы увидите следы чудовищного варварства! Чем же вы объясните, что в мире, которым так дурно распоряжается невежество толпы и вероломство правителей, могут иногда расцветать добродетельные сердца и распространяться некоторые истинные учения?... Разве могли бы они сохранить свой аромат, уберечься от укусов гнусных пресмыкающихся, устоять против бурь, если бы их не поддерживали и не оберегали какие-то благодетельные силы, чьи-то дружеские руки?... Научитесь же уважать святое воинство, невидимых солдат веры... и вы увидите чудеса, совершающиеся вокруг вас, вспомните, что все возможно для тех, которые верят и трудятся сообща, для тех, которые равны и свободны»¹⁹⁸. Вера, свобода и равенство были столь притягательны для потерявшего Бога, уставшего от домашнего догматизма и испытывающего комплекс неполноценности Григорьева, что он надолго сделался поклонником французской писательницы. Став масоном, он берет себе псевдоним «Трисмегистов» – в честь главного героя цитируемого произведения графа Альберта Трисмегиста, главы ордена «Невидимых».

В действительности же, все обстояло гораздо прозаичнее. К 1840-м годам собрания братьев серьезно проводились лишь в высших, розенкрейцерских степенях. Для низшего, «голубого», масонства все устраивалось на профанически-подготовительном уровне. Среди неофитов было много шарлатанов. Один из них – К.С. Милановский, «выдававший себя чуть не за Калиостро», стал для Григорьева духовным проводником, к которому юноша попал «в умственную кабалу»¹⁹⁹. Милановский был сокурсником

Фета. Проучился он только первый и второй курс, потом оказался в Петербурге, где, вероятно, входил в ложу «Трех добродетелей», которая тесно соединялась с упомянутой ложей «Ищущих манны». «Он, – свидетельствует Кавелин, – подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов. Он надул пастора Зедегольма, издававшего свой курс истории философии на русском языке и бессовестно употребил во зло добросердечие Тютчева»²⁰⁰; кроме того, он использовал кошелек Фета²⁰¹ и в конце концов переложил очередной свой долг на плечи Аполлона²⁰². Некрасов так обрисовал его:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически,
Говорит метафорически,
Надувает методически,
И ворует артистически²⁰³.

«Вот на этого-то вора, архижулика, – замечает публицист И.В. Павлов, – Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем»²⁰⁴.

Итак, вера, равенство, свобода... Свободу на масонские деньги Григорьев получил. Правда, она не принесла ему, как мы видели, желаемого облегчения. Что касается веры, то здесь дело обстояло сложнее. В русском масонстве того времени существовали две традиции обретения Бога: опирающаяся на патристику и опирающаяся на герметический мистицизм. Первая объективизировала Творца, являясь, по сути, внесударственным вариантом православия; вторая полагала Бога внутри личности. Григорьев резко отвергает мистический путь: «Я с жадностью бросился на всех мистиков, особенно на Бема; результатом этого было убеждение, что мистицизм так же почти далек от Истины Христа, как и Пантеизм, что поклонение внутреннему миру *человека* оставляет в душе ту же пустоту, как и поклонение миру *внешнему*»²⁰⁵. Идеи Арндта, Сен-Мартена, Сведенборга тоже не нашли в нем отклика, хотя, судя по его статьям, с их работами он был знаком. Это очень важный факт, подтверждающий вышеприведенное

утверждение о внутренней дезинтеграции поэта, его недоверии к самому себе. Дело в том, что в последующий период обретения собственной идентичности он станет ревностным сторонником именно мистической практики. Сейчас же, в силу привитых гегельянских стереотипов сознания, он ищет абсолютной объективности. Ему нужен «вывод от данного»²⁰⁶, оправдание своего состояния, привнесенное извне. В 1845 году он переводит некоторые немецкие масонские гимны, в выборе которых ясно отражаются его религиозные представления: находящийся вне мира Бог является оправданием всего происходящего.

Не зови судьбы веленья
 Приговором роковым...

 Правды свет – ее законом,
 И любовь в законе оном,
 И закон необходим...
 Оглянись как подобает,
 Как мудрец всегда глядит:
 Что пройти должно – проходит,
 Что прийти должно – приходит,
 Что стоять должно – стоит...²⁰⁷

Собственно, в своих исканиях трансцендентного Аполлон топтался на месте: православие – масонство – снова, как увидим ниже, православие. Менялась форма, не менялось содержание. Тоска разделенности с вышним не ослабевала. Тем же 1845 годом датировано стихотворение «Молитва»:

О боже, о боже, хоть луч благодати твоей,
 Хоть искрой любви освети мою душу больную;
 Как в бездне заглохшей, на дне все волнуется в ней,
 Остатки мучительных, жадных, палящих страстей...
 Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!

Не вся еще жизнь истощилась в бесплодной борьбе:
 Последние силы бунтуют, не зная покою,
 И рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в тебе!

О, внемли ж их стону, спаситель! внемли их мольбе,
Зане я истерзан их страшной, их смертной тоскою...²⁰⁸

Как покажет время, для Григорьева органичными окажутся именно личностные представления о Боге. Но пока он не способен основывать мировоззрение на собственной природе и вынужден кочевать по философским системам, в надежде, «что придет еще что-нибудь спасающее, что есть примирение»²⁰⁹.

Проблема межличностных отношений так же не окажется положительно разрешенной. Поначалу ему глубоко симпатичны идеи о помощи, утешении и «великом братстве людей между собою»²¹⁰. Но когда он видит конкретное их воплощение в особе Милановского – разочаруется и разорвет все отношения с масонами²¹¹. Это произойдет в первой половине 1846 года.

Надо сказать, что проблема человека в обществе была для Григорьева ничуть не менее остра, чем проблема обретения Бога. Ему крайне важно найти успокоение ранимому самолюбию, разрешить ощущение ложности своего положения. Параллельно с участием в масонских организациях он находит себе поддержку в утопическом социализме. Его привлекает трактат Фурье «Новый промышленный и общественный мир». Главный порок современной цивилизации Фурье видит в том, что это есть строй, который управляется всеобщим себялюбием и двойственностью в поступках; в котором индивидуум достигает собственной выгоды, обманывая других. «В нашей цивилизации, – пишет он, – между различными классами, между людьми, принадлежащими к различным сословиям и имеющими неодинаковое положение в обществе, заключается лишь ненависть, враждебность и презрительное отношение друг к другу»²¹². Проповедуемая свобода современного строя оказывается мнимой. Если только какой-нибудь обыкновенный гражданин цивилизованного государства позволит себе предаться беззаботности, забыв о налогах, плате за квартиру, не считаясь с общественным мнением – из нападок, которые на него посыплются со всех сто-

рон, он вскоре убедится, что вступил в область запрещенную. Труд в цивилизации является проклятием человека, потому что основан не на свободном влечении, а на насилии, нужде и угрозе. Труд не гармонирует с человеческими желаниями и не доставляет удовольствия.

Как видно из вышеизложенного, эти идеи должны были быть созвучны настроениям Аполлона. Он пишет, обращаясь к обществу:

Вам низость по душе, вам смех страшнее зла,
Вы сердцем любите лишь лай из-за угла
Да бой петуший за обиды!
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братьей?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Под взмахом топора общественных понятий?²¹³

В первой половине 1845 года он даже появляется на пятницах Петрашевского. Некоторые стихотворения того периода приобретают своеобразную радикальную окраску:

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умилением слушать бредни,
Нет, не рожден я быть рабом.
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать августейший дом.
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог²¹⁴.

Правда, усматривать здесь «воистину революционные настроения»²¹⁵ было бы поспешностью. На наш взгляд, основным мотивом здесь продолжает оставаться критика аристократизма как воплощения неискренности чело-

веческих отношений, облеченная в более резкую форму. Григорьев воспринимает социализм только как «ненависть к цивилизации»²¹⁶; позитивная его сторона осталась для него чужда: регулярное общежитие фаланстеры этому индивидуалисту представлялось не менее обременительным, чем порядки николаевского полицейского государства. Социализм, говорит он «мне противен, ибо я не могу ничего найти успокоительного в мысли о китайски-разумном идеале жизни»²¹⁷. Вероятно, это послужило одной из причин быстрого разрыва с петрашевцами, так что он даже не привлекался к следствию²¹⁸.

Обратим внимание снова на одновременное сосуществование в сознании нашего героя двух различных подходов к одной проблеме: масонского, основанного на любви и сострадании и фурьеристского, основанного на негодовании. Кроме того, забегаая вперед, отметим, что впоследствии Григорьев станет одним из самых непримиримых врагов социализма.

Мы так же знаем, что Аполлон в 1845 году появлялся и в либеральных собраниях, группирующихся вокруг «Отечественных записок». Туда он, вероятно, был введен товарищем по университету Н.К. Калайдовичем, сыном историка. Но с западниками у него было еще меньше точек соприкосновения: «Мы не поймем один другого, – говорил Григорьев еще о беседах с Кавелиным, – социальное страдание останется вечною фразой для меня, как для него искания бога»²¹⁹. С Калайдовичем они разошлись, поскольку первый «сделался чиновником в душе, то есть рабом от головы до пяток»²²⁰.

В целом, надо признать, что в эпоху «замечательного десятилетия» Аполлон Григорьев оказался в изоляции. Параллельное обращение юноши к полярным идеям и быстрая их смена; доверие к тому, что позднее будет безоговорочно отвергнуто и отторжение того, что потом станет идеалом; а, главное, тщетность этих усилий в борьбе с одолевающей хандрой – все это убеждает нас в том, что указанные расхождения являлись оболочкой внутреннего конфликта литератора, без решения которого ему оставалась чуж-

да любая система взглядов. В конце 1845 – первой половине 1846 годов появляются два произведения Аполлона, ярко отразившие его отношения с образованным русским обществом. Это драма «Два эгоизма» (1845) и поэма «Встреча» (1846). В них высмеиваются Петрашевский, славянофилы (особенно К.Аксаков), Калайдович, гегельянцы и масоны – то есть все окружение автора. Показательно, что эти персонажи вызывают его неприязнь не столько по идейным расхождениям, сколько потому, что ему они представляются самодовольными светскими людьми, принявшими свои убеждения из моды, а не из-за искреннего стремления к истине. Примечательно мнение И. Аксакова о критике брата: «Откуда все это взято – не знаю. Но Григорьев не видал даже Константина, стало – это все по слухам и рассказам Калайдовича»²²¹. Вот характерный отрывок из поэмы «Встреча»:

Вот гегелист – филистер вечный,
Славянофилов лютый враг,
С готовой речью на устах,
Как Nichts и Alles бесконечной,
В которой четверть лишь ему
Ясна немного самому.
А вот – глава славянофилов
Евтихий Стахьевич Панфилов,
С славянски-страшною ногой,
Со ртом кривым, с подбитым глазом,
И весь как бы одной чертой
Намазан русским богомазом.
С ним рядом маленький идет
Московский мистик, пожимая
Ему десницу, наперед
Перчатку, впрочем, надевая...²²²

Очевидно, что эмоциональный момент в этих оценках доминирует. На наш взгляд, это было вызвано теми же причинами, которые вызвали отторжение Григорьева от общества Коршей и Крылова. Раннее самолюбие и тя-

нущееся переживание неполноценности – как выражение душевного кризиса – мешали Аполлону войти в уже сложившиеся общества со своими системами поведения. Здесь больше обида, психологический барьер, чем сколько-нибудь оформленное идейное несогласие.

Единственным человеком, с которым Григорьев мог поддерживать отношения оказался В.С. Межевич. Василий Степанович окончил словесное отделение Московского университета и посвятил себя журналистике. Быстро разойдясь с «Отечественными записками», он примкнул к болгаринской партии и начал сотрудничать в «Северной пчеле». Как благонамеренный литератор, был выбран редактором официальных «Ведомостей петербургской городской полиции». Его взгляды снискали ему репутацию нравственно непривлекательного человека, хотя его преданность теории официальной народности была *искренним* убеждением. В 1843 году он, как истый театрал, становится редактором «Репертуара и Пантеона» И. Песоцкого, купеческого сына, человека, по словам А.Я. Панаевой, неподготовленного к литературной деятельности, даже вовсе необразованного, но которому лестно было видеть свое имя на обложке журнала²²³.

В октябре 1845 года Григорьев поселился у Межевичей на Никольской улице. Василий Степанович, сообщает В. Зотов, сотрудник «Репертуара и Пантеона», «был характера слабого, нерешительного, несообщительного. Маленького роста, чрезвычайно худощавый, белокурый, близорукий; он был неразговорчив и даже в беседах с близкими людьми объяснялся нескладно и далеко не красноречиво. Но сердце у него было мягкое, доброе. Он охотно признавал в других превосходство таланта и отдавал справедливость всякому дарованию»²²⁴. Скорее всего, благодаря именно этим качествам он завоевал расположение Аполлона. «Я живу теперь у редактора «Репертуара» Межевича, – пишет он Погодину, – одного из слишком немногих благородных людей, каких я знаю»²²⁵. Следующие строки, написанные им в альбом Василия Степановича, показывают, что в глазах

Григорьева тот представлялся человеком искренним, в отличие от остальных представителей образованной публики:

Блажен, блажен, кто небесплодно
В груди стремленья заковал,
Кто их, для них самих, скрывал;
Кто – их служитель благородный –
На свете мог хоть чем-нибудь
Означить свой печальный путь²²⁶.

Столь же теплое отношение было и со стороны Межевича. В конце 1845 года он направил Погодину письмо, в котором рассказывал о Григорьеве: «Он живет у меня месяца с полтора и кроме истинного участия, любви и уважения ничего не заслужил в нашем семействе. Да, он заблуждался... Я был счастлив, что успел сколько-нибудь успокоить его, примирить его раздраженную душу с действительностью, вывести на дорогу, по которой он пойдет тихо и ровно»²²⁷. Дорога эта – мир традиционно-официальных взглядов. Разочарованный юноша, оставшийся, как мы видели, в интеллектуальном вакууме, схватился за них как за последнее прибежище. Осенью 1846 года в «Финском вестнике» выйдет несколько статей, отражающих его новые взгляды. Теперь христианство есть альфа и омега его мирозерцания. И не просто христианство, а государственное православие. В рецензии на «Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского» он пишет: «Посреди волнений моря житейского стоит иная, смиренная, и смирением своим истинно апостольская, церковь, та церковь, которую с благоговением и любовью зовем мы матерью. Незыблемость ее посреди наглых, новых западных идей, чистота ее от всех примесей человеческих, не суть ли ясное, неоспоримое доказательство, что якорем своим прикована она к основанию слишком твердому, к истинному Кресту Христову»²²⁸. Западная церковь, желая властвовать над мирским обществом, уклонилась от истинного пути. Католицизм захвачен политическими вопросами, человеческими страстями. В протестантизме «простые, но величавые в простоте своей, истины евангельские являются све-

денными почти до сухой и мертвой апофегмы... протестантские проповеди суть большею частью или описания общих мест, рассуждения на заданную моральную тему, или сухие отвлечения и хитросплетенные логические умствования»²²⁹. Это свидетельство истощения, непонимания божественной воли. Теоретичность и рационализм господствуют на Западе. Теоретичность понимается Аполлоном как оторванность от прошедшего, построение социальных утопий, разрывающих с исторической традицией. Это болезненное проявление, поскольку «всякий результат без предшествующего развития есть голая, сухая, ни к чему неприменимая норма; ибо только сознанием прошедшего определяются его достоинства и недостатки, и отделяется в настоящем обветшавшее и старое от нового и живущего»²³⁰. В современной Европе главный представитель теоретичности – Фурье. Аналитичность – сведение многообразия жизни, как потока частных случаев, под законы логических абстракций, игнорирование тех ее сторон, а также сторон души, которые не согласуются с законами логики. Гегель – последний яркий представитель такого отношения. После его смерти западное общество разделилось. «Одна часть усвоила себе аналитический нож учителя и, неистово начавши рубить и резать все, что ни попадалось, развила в себе учение глубокого отчаяния и неверия в жизнь; другая взяла только сухой состав, скелет его философии, и, надевши на плечи эту мишурную мантию, подала руку филистерии... печально было это примирение, основанное на раздвоении, на лжи, на той греховной мысли, что можно думать так, а жить иначе»²³¹, – говорит Григорьев, явно вспоминая университетское общество. В славянстве такого нет. Россия сохранила связь с источником истины. Православный проповедник «указует на Голгофу, на крест, на котором мирно почивает Распятый и говорит: «во всем мире нет ничего тверже креста и безопаснее Распятого... Пройди путем, который открывает тебе раздирающаяся завеса таинств: вниди во внутреннее святилище страданий Иисусовых, оставя за собою внешний двор, отданный языкам на по-

прание. Что там? ничего, кроме святых и блаженных любви Отца и Сына и Святаго Духа к грешному и окаянному роду человеческому»»²³².

Русскому народу чужды принципы западной жизни. Русский человек – «натура глубоко религиозная, не понимающая раздвоения мышления и жизни, как вообще всякая человеческая, не обезображенная обществом натура»²³³. Однако из этого не следует принципиальной несовместимости России и Запада: «Россия не Восток только, а Восток и Запад вместе»²³⁴. Для нее неприемлемы не достижения цивилизации, а ложь и формализованность межчеловеческих отношений. Поэтому споры западников и славянофилов не имеют смысла: это всего лишь позерство и хвастовство. Они суть отражение того, что часть общества переняла европейские поведенческие нормы, и в этом смысле можно говорить, что развитие исконных начал у нас «загорожено, так сказать, превзошедшим пластом западной жизни»²³⁵.

Гарант преодоления этих негативных явлений – монархия; ее «общая задача есть раскрыть для народа сущность его жизни, привести в сознание его силы и потребности. В искусстве, в просвещении, в административной и законодательной деятельности правительство – столп огненный и облачный, идущий перед избранным народом»²³⁶. Деятельность царя обеспечивает непрерывность развития страны, в основе которого лежит «тройственно-единая идея православия, самодержавия и народности»²³⁷. Поэтому нельзя говорить об эпохе Петра как революционном моменте – он продолжал традицию «действовать в духе любви Христовой, в духе *смирения*»²³⁸, в согласии с божественным промыслом.

Таким образом, Григорьев теперь предстает как сторонник теории официальной народности. Его понимание православия и самодержавия находятся в полном соответствии с господствующей доктриной. Что касается народности, то в ее трактовке акцент делается не на преданности государству, а на антиаристократизме, что понятно, исходя из настроений литератора. В этих настроениях мы можем видеть истоки некоторых поздних

взглядов критика. Так, он начинает культивировать идею народности как носительницы естественных, здоровых отношений между людьми и будет всегда мыслить себя вне основных общественных направлений – славянофилов и западников, подчеркивая односторонность их позиций. Здесь мы так же встречаем главный принцип консервативного мышления, названный им впоследствии «органичностью»: настоящее оправдано постольку, поскольку опирается на прошедшее. Наконец, отсюда Григорьев начинает свой поход против рационалистических концепций. Что касается центральных положений теории Уварова, то скоро Григорьев отвергнет их так же решительно, как все предыдущее.

Идеи, навеянные беседами с Межевичем, оказали на молодого человека свое основное действие *косвенно*. Можно было заметить, что в рассуждениях в «Финском вестнике» часто упоминается *смирение*. Обращение к ортодоксальности заставило Григорьева иначе взглянуть на свое самолюбие. Он осознает, что

Молитва не дружна с безумными мечтами,
Страданьем гордости смиренья не купить²³⁹.

Он пишет Погодину, что теперь понимает «всю бездну, в которой стоял – бездну шаткого безверия, самодовольных теорий, разврата, лжи и недобросовестности»²⁴⁰. Тоска теперь представляется ему наказанием за гордость²⁴¹. Соответственно, он становится апологетом смирения. «Лучше быть поденщиком, и, видит Бог^{*}, я готов был камни таскать скорее, чем продолжать говорить самоуверенно то, что отвергает душа моя; мне надоела и опротивела и бесплодная софистика, и бесплодно-праздная жизнь»²⁴². Смириться означало для него оставить амбициозные стремления и принять себя таким, каким есть. А принять себя означало впервые за многие годы не насиловать свою психическую природу. Были созданы условия для восстановления эмоциональной доминанты в душе юноши. Он

* Характерно, что здесь «Бог» уже с заглавной буквы.

обрел то внутреннее состояние, которое К. Юнг описывает следующими словами: «Это блаженное чувство сопровождает все те моменты, которые окрашены чувством струящейся жизни, то есть те мгновения или состояния, когда скопившееся и запруженное могло беспрепятственно излиться, когда не надо было делать то или другое сознательным напряжением. Это те состояния или настроения, «когда все идет само собой», когда не нужно с трудом создавать какие-нибудь условия, сулящие радость»²⁴³. Сам Григорьев так описывает его: «Передо мной, как будто из-под спуда, возникал мир преданий, отринутых только логической рефлексией; со мной вновь заговорили внятно, ласково и старые стены старого Кремля, и безыскусственно-высоко художественные старые страницы летописей; меня как что-то растительное стал опять обвевать как в годы детства органический мир народной поэзии. Одиночеством я перерождался, я, живший несколько лет какою-то чужою жизнью, переживавший чьи-то, но во всяком случае не свои, страсти – начинал на дне собственной души доискиваться собственной самости»²⁴⁴. Это было ключом к постепенному возрождению, выходу на твердую почву. «Посещали меня, – говорит он в письме, – в последнее время минуты, давно незнакомые – минуты, когда опять я чувствовал себя чистым, свободным... когда я благодарил Неведомого за то, что спадает с меня постепенно гниль разочарования и безочарования»²⁴⁵. Это было началом самообретения, началом прислушивания к своей душе и формирования самостоятельной системы взглядов, отражающих собственную психологическую структуру. Уже в первой половине 1847 года он формулирует свой главный мировоззренческий принцип: «Сердцем и страданием, а не холодным умом понимать значение фраз»²⁴⁶. Меланхолия отступила, вопросы онтологические и этические, хотя и не были еще разрешены, резко потеряли свою болезненную остроту. Таким образом, очевидно, что конфликт должен был быть в первую очередь разрешен не в философской, а в психологической плоскости.

Стремясь разорвать с опостылевшим укладом, Аполлон Александрович решает вернуться в Москву. Переезд состоялся в январе 1847 года. Весь год критик работал в «Московском городском листке» – газете А. Драшусова. Из всех его многочисленных, но небольших статей, носящих в основном критико-библиографический характер, для нас наиболее интересен цикл «Гоголь и его последняя книга», появившийся в марте 1847 года. Он посвящен «Выбранным местам из переписки с друзьями». На фоне общего неприятия «Выбранных мест» отзыв Григорьева резко выделялся восторженными суждениями, ставя автора в глазах публики в один ряд с Булгариным и Гречем. Но литератор к этому времени уже охладел к принципам триединой формулы. Его привлекает пафос идеи быть тем, что ты есть. «Многое пало мне на сердце из этой книги, а в особенности слова «Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит»»²⁴⁷. Книга дала продолжение его «внутреннему процессу – процессу болезненному, тяжелому, где, может быть, принесено было в жертву много личного самолюбия; ибо почти все в книге оскорбительно для этого личного самолюбия»²⁴⁸. Письма Гоголя как нельзя более были созвучны вышеописанным настроениям Аполлона. Однако можно увидеть и характерные изменения некоторых суждений, свидетельствующие о начале формирования основы самобытной концепции литератора. Он согласен с мыслью Гоголя, что болезненность современного общества происходит от гордости. Но призыв к смирению толкует на новый манер. Гордый человек, стремящийся к земной славе, всегда подчиняет себя большинству, рассчитывая на его признание. Поэтому он отрекается от себя, в нем «таится злой и страшный недуг рассеяния сил, потерявших центр, точку опоры»²⁴⁹. Этот недуг рассматривается как безволие²⁵⁰. Соответственно, смирение – это волевой акт «собираения себя всего в самого себя»²⁵¹. Таким образом, Григорьев перерастает этап пассивного принятия себя и возвращается к идеалу деятельной личности.

Однако еще до 1851 года принципы нового мировосприятия он будет вынашивать в себе. Они были нестройны – причина, почему Аполлон участвует в журналах в 1848–1850 годах только эпизодически²⁵². В работах, которые выходили, критик оставался в стихии свободных переживаний, не стремясь придать им системность и обобщенность. Он предпочитает писать об «ощущениях почти неуловимых, почти непередаваемых»²⁵³. Его эмоциональность получила выход – и этого пока было достаточно.

В основном, наш герой сосредотачивается на домашних заботах. В ноябре 1847 он женится на младшей сестре Антонины Корш – Лидии. Сущность этого союза выражена в стихотворении с недвусмысленным названием «Тайна воспоминания», посвященном молодой супруге. В нем говорится о неприкаянных «силах духа», которые

...владыку оставляя,
У тебя во взгляде память рая
Обрели...²⁵⁴

Конечно, чувство, основанное на воспоминании о чувстве к другому человеку, не могло быть долгим. «Увы! – пишет он Гоголю в декабре 1848 года, – бóльшая часть наших женщин – *бабы*... Наши женщины слишком похожи на *Марфу, пекущуюся и молвящую о мнозе*; слишком мало в них энтузиазма к великому и человеческому; лучшие из них думают, что, ведя хорошо домашние дела, исполняя обязанность рачительной хозяйки – они уже все сделали»²⁵⁵.

Для поддержания семейных средств Аполлон в августе 1848 года поступает учителем законоведения в Александровский сиротский институт, а в мае 1850, в связи с его реорганизацией, переводится в Московский Воспитательный дом. Он уже не питает амбициозных стремлений, радуясь относительной гармонии, достигнутой с собой и с миром.

Таким образом, мы далеки от представления петербургских исканий Григорьева результатом «приземленности русской жизни середины сороковых годов», которая «влекла мужчин запоздало романтической ориента-

ции к печоринству, к масонским утопиям, к бродяжничеству и загулам»²⁵⁶. Нам кажется, что причина была не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем мире литератора. Временное отсутствие контакта между сознательными установками и психологической природой заставляло Аполлона Александровича одновременно обращаться к полярным идеям, быстро отказываться и менять их на противоположные, не находя решений терзавшим вопросам. Характерно, что такое обилие концепций не оставило в позднейшем мировосприятии критика сколько-нибудь заметного положительного следа. Только отдельные идеи этого времени были перенесены Григорьевым в новую систему взглядов: противопоставление естественности народных межличностных отношений аристократической лживости; отстраненность как от западников, так и от славянофилов; принцип органического развития; критика рационализма; симпатия к активной свободной личности. Пока эти взгляды высказывались Аполлоном как вспомогательные, второстепенные. Самостоятельное звучание они получают в последующие годы. Главный итог этого периода – обращение к идее смирения, позволившей нашему герою прислушаться к себе, что послужило залогом выхода из душевного кризиса и выработки в дальнейшем самостоятельной системы взглядов.

Глава 4. Своя пристань (1850 – 1857).

Григорьев вспоминал: «Явился Островский и около него как центра – кружок, в котором нашлись все мои дотолле смутные верования...»²⁵⁷. Начиналась, по его словам, настоящая молодость, «с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди; люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые «продергивают» в самих себе и других все напускное, все подогретое, и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все народное,... что окружало мое воспитание, все, что я на время почти успел заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы – поднимается в душе с неожиданною силою и растет, растет до фантастической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды»²⁵⁸. Бедный, он думал, что наступает весна жизни, перетекающая в долгое солнечное лето, а в действительности оказалось, что это лишь погожие дни среди унылости февраля... Но как бы там ни было, давайте подробнее поговорим об этом кружке Островского, получившем название «молодой редакции» «Москвитянина», столь важном для судьбы нашего героя.

В литературе существует две традиции понимания сущности кружка. Первая, так сказать концептуальная, идет от С.А. Венгерова. Ученый представил причины сближения молодых людей с консервативным Погодиным, редактором «Москвитянина», следующим образом. Члены «молодой редакции» представляли менее исключительное направление в западничестве, которое после 1848 года было вульгаризировано недалекими последователями Белинского и Герцена. Кружок Островского не устраивала примитивная исключительность современных западников, их абсолютное игнорирование всего национального, даже после поражения их идеалов в европейских революциях. «Чтобы дать исход этому негодованию (против

либеральной односторонности. – П.К.) и иметь возможность не стесняясь высказывать все свои «русские» симпатии, – рассуждает Венгеров, – кружок, не обладая собственным изданием, пошел на встречу гостеприимно открывшимся объятиям Погодина, грубое народолюбие которого было все–таки ближе, чем холодное и насмешливое отношение тогдашних западников к самобытным явлениям русской жизни. Необходимость заставила кружок заключить этот, многими сторонами своими неестественный, союз патриотизма осмысленного и юношески искреннего, со старческим или, вернее, впавшим в детство патриотизмом Погодина»²⁵⁹.

Другой – описательный – подход видим у историка русской критики И.И.Иванова. Он пишет о молодых товарищах автора «Банкрота»: «Казалось, все они находились в каком–то особом лирическом мире и пели хором торжественные гимны вперемежку с русскими народными песнями. Во имя чего, собственно звучали эти гимны – ясного отчета не давала ликующая компания и довольствовалась чрезвычайно звучными, но столь же смутными по смыслу словесными мотивами»²⁶⁰. Современные исследователи придерживаются в основном именно этой точки зрения, полагая, что «общественное лицо кружка «молодой редакции» все–таки наивно»²⁶¹.

Повнимательнее взглянем в жизнь молодой компании.

Осенью 1847 года начинающий преподаватель словесности I Московской гимназии Третий Филиппов пил чай в Печкинской кофейне. Углубленный в чтение только вышедшего романа Санд «Проступок господина Антуана», он не обратил внимания на подсевшего к нему человека. Да и человек этот, занятый горячим чайником, проявил к нему мало интереса. Вскоре к столу подошел университетский знакомый Филиппова. Узнав, что читает его товарищ, молодой человек воскликнул:

– Это что, а вот вы бы прочли «Мартына Найденыша» Евгения Сю!..

«По лицу Филиппова, – передает со слов героя Н.П. Барсуков, – скользнула легкая, ироническая улыбка, причем он заметил, что такая же улыбка

отразилась и на лице случайного его соседа. Это совпадение улыбок, обоими замеченное, послужило поводом к началу разговора, который продолжался вплоть до ночи, принимая все более и более оживленный характер. Расставаясь, молодые люди порешили видаться и продолжать случайно начатое знакомство»²⁶². Новым знакомым Тertia Ивановича стал Островский.

Вскоре Филиппов познакомил начинающего драматурга со своими университетскими товарищами – Евгением Эдельсоном и Борисом Алмазовым. В них Александр Николаевич нашел пылких почитателей своего таланта. Структурное оформление кружок получил позднее, в конце 1849–1850 годах, когда была написана комедия «Свои люди – сочтемся» и Погодин, восхитившись молодым талантом, пригласил драматурга к сотрудничеству в своем журнале. В то время молодые люди не придерживались сколько-нибудь твердых убеждений и пристрастий, кроме природной расположенности к русскому быту. Погодин очаровал их своими беседами, увлек рассказами, носившими яркий характер живой летописи²⁶³.

В это же время к кружку примыкает Григорьев. Он был приглашен на литературный вечер к Островскому, с которым был, вероятно, знаком по «Московскому городскому листку». Когда бóльшая часть гостей разошлась, Филиппова, как знатока народной песни, попросили спеть. После одушевленного исполнения, которое на всех произвело сильное впечатление, Григорьев упал на колени и просил кружок усвоить его себе, так как в его направлении он видит правду, которой искал в других местах и не находил, а потому был бы счастлив, если бы ему позволили здесь бросить якорь²⁶⁴.

Итак, кружок состоялся: Островский, Григорьев, Эдельсон, Алмазов, Филиппов. Островский (р. 1823) был сыном чиновника – выходца из духовной среды, который только в 1839 году получил наследственное дворянство. Учился Островский на юридическом факультете, но в 1843 году, при переходе на третий курс, получил «неуд» по римскому праву и поки-

нул университетские стены. На момент знакомства, он служил в канцелярии московского Коммерческого суда. Эдельсон (р. 1824) – потомок очень бедной немецкой дворянской семьи; его отец состоял экономом рязанской гимназии. К 1847 году он окончил Московский университет по физико–математическому факультету. Здесь он познакомился с Алмазовым (р. 1827), отчисленным с юридического факультета за невзнос платы. Алмазов был самый родовитый из всей компании. Его предки, давно разорившиеся вяземские дворяне, вели свой род с XVII века. Филиппов же (р. 1825) происходил из ржевских мещан: ему стоило большого труда закончить словесное отделение.

Мы видим, что своим происхождением, а некоторые и образованием, члены кружка стояли вне аристократического общества.

А теперь посмотрим на психологические портреты этой молодежи. «Особенная умилительная простота, – пишет С. Максимов (тогда студент), – во взаимных отношениях господствовала в полной силе здесь (у Островского. – П.К.)... в нем хранились источники беспредельной нежности, иначе он бы так мягко и ласково не улыбался и не был бы так очаровательно прост. Белокурый, стройный и даже, *как мы все, малые и приниженные**, застенчивый, он и общим обворожительным видом, и всею фигурой совершенно победил нас, расположив в свою пользу до последней степени... Кроткая натура его обладала способностью огромного влияния на окружающих. Никогда ни один мыслящий человек не сближался с ним, не почувствовав всей силы этого человека... Все твердо знали, что здесь почувствуют они себя самих в наивысшем нравственном довольстве, утешенными и успокоенными. Никогда и никому ни разу в жизни А.Н. не давал почувствовать своего превосходства. Он был уступчив и терпелив даже и на те случаи, когда отысканная им или только обласканная личность в самобытности своей переходила границу и вступала в область оригинальности,

* Выделено нами.

вызывавшей улыбку или напрашивавшейся на насмешку, – словом, когда этот оригинальный человек начинал казаться чудаком»²⁶⁵. Другой участник кружка – Евгений Эдельсон, самый близкий друг Григорьева, характеризуется в этом же источнике как человек «деликатный и нежный, совершенно уравновешенный»²⁶⁶; Аполлон часто ругал его «за робость, уступчивость и излишнюю литературную деликатность»²⁶⁷. Он и в «частной жизни отличался замечательной гуманностью, снисходительностью и кротостью, неизменной готовностью оказать кому бы то ни было всякую серьезную услугу»²⁶⁸. Про Алмазова говорили, что «воспитание не приспособило его к светской развязности, не победило его застенчивости и неловкости. В мало знакомом обществе он не знал, куда девать свои длинные ноги, как совладать со своею неуклюжею, длинною особой и смотрел человеком холодным, даже нелюдимым. Но все эти поверхностные недостатки сглаживались, исчезали, когда он свыкался с людьми и привязывался к ним. Тогда он становился общителен, говорил плавно, хорошо, и все, что он говорил, было крайне интересно и оживлено юмористическим складом ума»²⁶⁹. В Филиппове биограф также отмечает заметную мягкость характера²⁷⁰.

Таким образом, можно говорить о том, что собравшаяся компания по характеру своему была принципиально *несветской*. «Это сближение передовых людей московской интеллигенции в особенный кружок.., – пронизательно замечает Максимов, – произошло оттого, что... все они, безусловно, были «сверстниками»: они подошли друг другу под лад и под стать»²⁷¹. Это обстоятельство вскоре стало главным и, пожалуй, единственным идейным лозунгом «молодой редакции». *Сознательное противостояние формальности и холодности отношений аристократического общества* – вот общественная позиция молодых поклонников Островского. Рассказывают, что они отказались водить дружбу с Григоровичем только потому, что последний, как петербургский франт, носил клетчатые панталоны и лаковые башмаки²⁷². Говорят также, что Григорьев любил эпати-

ровать публику в гостиных, выставляя свое полное незнание светских обычаев, «без малейшей боязни показаться смешным, с совершенным равнодушием к форме и к различию общественных положений»²⁷³.

На первом плане стояла русская народная песня. Филиппов пел так, что плакали от умиления полове, а Е. Шереметьева, двоюродная сестра Алмазова, пораженная простотою исполнения, спросила кузена: «Скажи, пожалуйста, Борис, что Филиппов благородный?»²⁷⁴ Для Григорьева это была пора «воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только по-видимому похерили рефлексия и наука»²⁷⁵. Для него, недавно нашедшего центр своего внутреннего мира, особую ценность приобретали впечатления детства – самой гармоничной поры. «Быть может, – размышлял он, – силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью»²⁷⁶. «Нет или мало, – продолжал он, – песен народа, мне чуждых: звучавшие детскому уху, они отдались, как старые знакомые, в поздней молодости; они, на время забытые, пренебреженные, поправленные даже... восстали потом в душе во всей их непосредственной красоте»²⁷⁷. «Хороших, безыскусных исполнителей, умевших передавать их (песни. – П.К.) голосом, без выкрутасов и завитков, разыскивали всюду, не гнушаясь грязных, но шумливых и веселых трактиров и нисходя до погребков, где пристраивались добровольцы из мастеров пения и виртуозов игры на инструментах»²⁷⁸.

Трактиры «Волчья долина» у Каменного моста, «Печкинская кофейня» близ Охотного ряда, Зайцевский кабак на Тверской, «Британия» возле Университета и заведения в Марьиной роще, у Калужских ворот и на Поварской часто поглощали время «молодой редакции». В некоторых из них можно было видеть нацарапанную надпись:

Здесь Алмазов Борька

И Садовский Пров^{*}

Водки самой горькой

Выпили полштоф²⁷⁹.

Они наполнялись беспутством и поэзией, «монологам из «Маскарада» в пьяном образе, заветными песнями... вдохновенными и могучими речами Островского, остроумием Евгения (Эдельсона. – П.К.), голосом Филиппова... всем, всем, что называется молодость, любовь, безумие и безобразия»²⁸⁰. Нередко собирались у Островского, в доме в приходе Николы в Воробине, что на Яузе; у Эдельсона на Полянке и у Григорьева. Спорили об искусстве... Особенно Григорьев вспоминал, обращаясь к Островскому, две годовщины именин последнего (22 ноября), «когда читалась «Бедность не порок» и ты блевал на верху и когда читалась «Не так живи, как хочется» и ты блевал внизу в кабинете»²⁸¹.

«Положим, – писал Григорьев Погодину, – что мы точно порождение трактиров, погребков и борделей, как звали Вы нас некогда в порыве кабинетного негодования, – но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или, лучше, чутьем жизни, с неиссякаемою жаждою жизни. *Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы – народ*»²⁸². «Мертвецки пьяные, но чистые сердцем, <они> целовались и пили с фабричными»²⁸³, и народ представлялся им сильным, молодецким и удалым, с балалайкой и сулейкой водки, с сухарной водой на запивку, с заунывной или разгульной – смотря по настроению – песней»²⁸⁴.

Такую жизнь Григорьев называл «жизнью по душе». Он, по склонности натуры, всегда хотел «хандрить и пьянствовать»²⁸⁵ (вспомним его меланхоличность и эмоциональную подвижность в детстве) – и только теперь он мог сознательно *уступить голосу чувства*, избавившись от комплекса вины и обратив свое поведение в гражданскую позицию. Веселая

* Артист, товарищ «молодой редакции».

неформальность отношений – вот, что было ему дорого в этом кружке, вот к чему он стремился многие годы.

Воспитанная публика восприняла кружковцев как отщепенцев.

– Папуасы! Ха-ха! – шумел переводчик Кетчер, – Островитяне!*

Ха-ха! Иерихонцы! Трактирные ярыги!²⁸⁶

И такая реакция была одной из лояльных. «О кружке ходили не очень благовидные слухи, что это – беспросыпные кутилы, пребывающие большую часть дня не то в нагольных тулупах, не то в рубашках; ненавидящие фраков и перчаток; пьющие простое вино из штофов и полуштофов и закусывающие соленым огурцом»²⁸⁷. «Тут были, – негодовал западник Феоктистов, – и провинциальные актеры, и купцы, и мелкие чиновники с распухшими физиономиями – и весь этот мелкий сброд, купно с литераторами, предавался колоссальному, чудовищному пьянству... Пьянство соединяло всех, пьянством щеголяли и гордились»²⁸⁸. Но друзья Островского и сами знали, что *ce n'est pas comme il faut* – и в этом был весь их пафос.

Итак, внутреннее родство душ и стремление к непосредственности в человеческих отношениях – вот те силы, которые вызвали к жизни «молодую редакцию». Выразить эти принципы они (точнее, в основном Григорьев, как ведущий критик кружка) стали в журнале Погодина. Нам кажется, что характер их сотрудничества будет не до конца ясным без рассказа о личности Михаила Петровича.

«Крепостной по происхождению, – говорит в своей замечательной характеристике Б. Глинский, – человек без солидного энциклопедического образования, Погодин представлял собою смесь самых разнообразных, противоположных черт – и положительных, и отрицательных, которые гнездились в нем неуклюжими, хаотическими обрубками. Это был истинный тип, в своем роде оригинально-цельный, который только и мог возрасти на московской почве начала столетия, сдобренный жидкими потоками

* Т. е. поклонники Островского.

ми европейского просвещения, хлынувшего к нам вместе с наполеоновскими войнами. Классическое изречение – «поскребите русского – и вы увидите в нем татарина» как нельзя более применимо к Погодину. Порою добрый, снисходительный, уступчивый и доброжелательный, издатель–редактор «Москвитянина» вместе с тем был в своих отношениях с окружающими адски скуп, скуп до гадости и омерзения, нечистоплотен в денежных расчетах, гранича с бессердечием и жестокостью... Мечтательный до сентиментальности, непрактичный и не умеющий по неуживчивости и несурзности обделывать свои делишки, он, однако, подходил к вопросам с аршином измерения личных выгод и личного благосостояния, делая это, притом так неуклюже и грубо–наивно, что большинство его поползновений встречало неудачу и отпор со стороны окружающих и, во всяком случае, легко ими разгадывалось... А вместе с тем, в глубине души у него были заложены и великие достоинства, которые невольно влекли к нему тех самых, которые еще накануне уходили от него с гневом и омерзением. Не даром же имя Погодина тесно связано с именами лучших деятелей нашей литературы и исторической науки, которые умели находить в нем того душевного человека, того умницу–самородка, с которым можно поделиться мыслями и чувствами.

Погодин был тем мужичком–великороссом, бойким и себе на уме, который только что выйдя из кабалы, спешит правыми и неправыми путями скорее добиться и благосостояния, и положения... Он – тип бывшего дворового, много видевшего на своем веку во время хождения по оброкам, взявшего свое добро лбом и горбом, понимавшего Россию чутким сердцем, любившего ее во всех ее “сквернах” и готового поминутно восторгаться ее действительными и мнимыми красотами... С чисто русскою речью на устах, с шуткой и прибауткой, а подчас с циничным и грязным двухаршинным словом, он был доступен и понятен»²⁸⁹. Как видим, Михаил Петрович по природе своей не был человеком аристократического круга и в стремлениях своих – хороших, дурных ли – являлся непосредственным, не

скрывая своих душевных движений за маской норм поведения. Вероятно, это внутреннее родство являлось той силой, которая держала молодежь вокруг редактора “Москвитянина”. Характерен следующий отрывок из письма Григорьева к профессору: “У меня к Вам есть глубокая душевная привязанность и вера в то, что Вы один всегда понимали и поймете все *живое**. Эта вера в Вас... есть в Эдельсоне... есть и в Алмазове”²⁹⁰. Надо отметить, что Григорьев был теснее прочих связан с Михаилом Петровичем. “Я ведь знаю Вас давно, – говорит он в 1857 году, – с шестнадцати лет моего возраста, – я видел от Вас так много горького и сладкого, что привязанность к Вам срослась с моим существом. Вы со мной еще юношей беседовали о самых важных вопросах, Вы написали ко мне в Петербург несколько строк, полных глубокого чувства; Вы меня и бранили без меры, и без меры же поднимали меня в собственных глазах во все времена моей безобразной жизни”²⁹¹. К сожалению, ничего более конкретного об этих ранних отношениях материал не позволяет нам сказать. В глазах Григорьева Погодин – “единственный сколько–нибудь сильный человек”²⁹², человек той же породы, как и дед Аполлона, он – “кум**”, отец и командир”²⁹³.

Итак, оппозиция существующей светской модели поведения – вот основное содержание деятельности Григорьева в это время. Но теперь он нападает не столько на старые салонные «хорошие манеры», как перед бегством в Петербург (это для него уже не актуально), а на байронический идеал. Ход его мыслей понятен; он отталкивается от собственного опыта, описанного в предыдущей главе. Он критикует самого себя, себя петербургского периода – и без учета этого факта мысль его может показаться туманной. Для него предшествующие годы наполнены ложью перед самим собой. Эта ложь ассоциируется с желанием занять место в обществе, обществе, ориентированном на идеал холодной разочарованной личности.

* Т.е. “жизнь по душе”.

** В 1852 г. Погодин крестил сына Григорьева Александра.

Соответственно, в его глазах личная неправда превращается в неправду общественную: он лгал перед собой и ложь эта приняла форму подражания определенной модели поведения, которая и стала, вследствие этого, навсегда скомпрометированной в его глазах.

Сущность светского человека – разочарованность, неестественное для человека состояние. Корнями своими уходит она в идеализм, который рано или поздно разрушается столкновением с действительностью, оставляя после себя всеохватную хандру. Идеализм был когда-то болезнью века. “Требовать от действительности не того, что она дает на самом деле, а того, о чем мы наперед гадали, приступить ко всякому живому явлению с отвлеченную и, следовательно, мертвую перед нею мыслью, отшатнуться от действительности, как только она противопоставит отпор требованиям нашего я и замкнуться гордо в самого себя – таковы самые обыкновенные моменты этой болезни, ее неизбежные схемы”²⁹⁴. Однако болезнь эта, характерная для начала века, уже прошла, оставив, благодаря литературным гениям, моду на хандру. За современной разочарованностью стоит только самолюбие. Герой одной из подражающих Лермонтову повестей говорит: “Умереть со скуки – выражение чисто гиперболическое. Мне кажется, я начал скучать с тех пор, как в первый раз чихнул при рождении, однако, слава Богу, живу до сих пор”. “И ведь как он рад, бедный, – комментирует Григорьев, – своей якобы остроумной выходке, как он доволен, что не принадлежит к счастливцам, которых смиренный ум живет помаленьку, – с каким торжеством причисляет он себя к “семье праздношатающихся умников, которые не умеют примирить с деятельностью жизни””²⁹⁵. Стало считаться хорошим тоном развивать в себе эгоизм, бесстрашие, холод и расчет. Современный человек подвержен искушению “преувеличить свои недостатки до той степени, на которой они получают известную значимость и, пожалуй даже, по развращенным понятиям современного человека, грандиозность и обаятельность зла”²⁹⁶. Эти люди действуют только из

самодовольства и “эксцентричности” – желания похвастаться собой. Они изысканы, но души их пусты. В их жизни присутствует “тонкость чувствований, тонкость разговоров, тонкость стана героинь, тонкость голландского белья героев – тонкость такая, что стан, того и гляди, переломится; разговор перейдет в нечто, *простому* здравому смыслу и *невоспитанному* чувству непонятное; чувства того и гляди – совсем испарятся или улетучатся; тонкость голландского белья чуть что не становится главным признаком достоинства человеческого”²⁹⁷. Люди “хорошего тона” самодовольны, *унизить ближнего – обычная форма их общения*. Они намеренно *заглушают в себе добрые чувства, их эмоции заморожены насмешливым разумом*; их всегда можно узнать по “способности не краснеть, когда уличают в бесстыдстве”²⁹⁸. Тем самым “они беспрестанно насилуют свою, в сущности, пустенькую природу, надуваясь как мыльный пузырь”²⁹⁹. Болезнь современности – *напыщенность* и самообман, *ложь*, стремящаяся представить человека не тем, кто он есть по природе своей. Как правило, это потерянные люди.

Однако есть среди этого мира несчастные (к которым Григорьев причислял и себя), которые попали сюда не столько из развитости, сколько из ранимости самолюбия. Они представляют тип “добродушный и мягко-сердечный по природе, но из-за насмешек сверстников ставший подражать байронической холодности. Быть выше во что бы то ни стало, выше самого себя –единственное его стремление... Перед ним стоит постоянно, вопреки его слабой и робкой натуре, обаятельный идеал демонской силы, абсолютного отрицания. Он начинает повествовать, как не существует для него ни радостей, ни огорчений в жизни, как убил он в себе все беспокойные стремления, все душевные и сердечные порывы, как счастлив он один с самим собой, какое чудное одиночество образовалось у него в груди”³⁰⁰. Этим людям – поскольку они пронзительнее ощущают неестественность положения – проще восстановить связи со своей природой, воплощенной “в корнях, в почве, в прошедшем”³⁰¹. Для них легче “поворот к живому

чувству, к непосредственности»³⁰². «Опыты жизни, – говорит литератор, явно вспоминая недавние годы, – раскрывают человеку глаза, и внутри его начинается кара сознания – самая ужасная из кар, но ведущая к благодатному исходу: путем саморазоблачения, искренним презрением к самому себе доходит он до того, что снова доискивается в себе глубоких основ, веры в истинное, а не фальшивое человеческое достоинство»³⁰³. Естественное состояние человека Григорьев, исходя из собственного опыта, представляет как *следование непосредственным движениям своих чувств (непосредственность) при абсолютной терпимости в отношении к людям (демократизм)*³⁰⁴.

Свое открытие, что

Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,

Там правды нет и жизни нет³⁰⁵

он унифицирует для всего человечества. Только на этом пути он видит выход к естественности отношений. Чувство спасает от разочарованности, помогает «уловить в преходящем вечное и неперемennое, принять его в себя не отвлеченно и искать его повсюду деятельно». Это «правда, которая лежит в сердце человеческом»³⁰⁶. Правда, ведущая к примирению с собой и с действительностью – единственное условие настоящего счастья³⁰⁷.

Таким образом, протест Григорьева вызывают «ложь и напыщенность»³⁰⁸ в людях. Ложь – отвержение в угоду общественному идеалу чувства как стержня личности. Напыщенность (следствие лжи) – уничижительно–самодовольное отношение к ближнему. Этими мотивами проникнуто все его миропонимание.

Вообще, полагает Григорьев, идеализм, в вышеизложенном смысле разочарованности, не является органическим явлением в России.

Пусть будет фальшь мила Европе старой

Или Америке беззубо–молодой,

Собачьей старостью больной...

Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;

И правду любит Русь, и правду понимать

Дана ей Господом святая благодать;
 И в ней одной теперь приют себе находит
 Все то, что человека благородит³⁰⁹.

Россия развивается гармонично: петровские преобразования не являются поворотным пунктом ее истории. Государство, действующее во благо народа и опирающееся на православие, – вот источник ее движения. До XVII века государственное начало боролось с удельными безнаридами, и Смутное время – одновременно апогей и завершение этой борьбы. «Отсюда начинается решительный поворот нашей истории от исключительного быта Московского Государства к государственной жизни «всея Руси»³¹⁰. Царь объединил земли во имя Православия, во имя единства верховной власти и стремления к высокой цели – развитию русской гражданственности. Монархом осознавалась необходимость знакомства с достижениями Западной Европы, и контакты между двумя цивилизациями активно проводились еще за полвека до Петра. Но это общение не нарушало исконных начал русского народа. Алексей Михайлович мог «призывать в Россию образованных иностранцев, пользоваться плодами их знаний, читать иностранные газеты, тешиться игрою немецких актеров – и в то же время писать указ боярам: «чтоб они иноземных немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платьев, кафтанов и шапок иноземных образцов не носили и людям своим потомуж носить не велели»... «что нам за дело до обычаев иноземцев; их платье не по нас, а наше не по ним»»³¹¹. Петр в своих начинаниях только следовал традиции. Он не изменил коренных русских начал, но сильно переиначил *внешние формы*. Поэтому Григорьев и считает его царствование этапом органического развития. Национальный характер искажен не был. Русский народ жил и живет по поговорке: «Бог – правда; правду он и любит», то есть по христианским ценностям³¹². Сущность их Григорьев понимал как искренность душевных движений и «высшее понятие, простирающееся на все, даже на тварей, любовь и сострадание»³¹³. Только высшие

слои запутались в искусствах Запада, приняв за образец для подражания проявления болезненных процессов. Но тем легче от них избавиться, что они только тени на русской земле.

Таким образом, можно говорить, что в это время Григорьев оставался близок к теории официальной народности. Здесь, конечно, очевидно влияние Погодина, искреннего сторонника ее идей, человека, всем обязанного государству. Однако есть между ними и существенное отличие – Григорьев не идеализировал настоящее. Правда, даже при таком повороте, он воспринимался как выразитель мнения апологетов Николая. Хомяков, например, находил «крайне неуместным отзыв о преуспевании искусства и науки *под державною сенью*, в то время, когда нельзя напечатать второй части «Мертвых душ», ни перепечатать первой»³¹⁴.

Искусство, полагал наш герой, – вот путеводная нить, указующая правильное направление душе. В понимании сущности прекрасного критик следовал за Гоголем: «Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего... ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства, ... и звучащей молитвой устремляется вечно к Богу»³¹⁵. Есть, конечно, неистинное искусство – то, которое либо занимается копировкой действительности, либо выражает ложные идеалы, которые для Аполлона Александровича тождественны идеалам великосветским. Истинное искусство следует народному идеалу: оно тоже опирается на чувство и любовь к своим героям. «Его высокие произведения, – говорит литератор, – идут в душе творцов от образов, а не от идей»³¹⁶, «всега важней в лирическом поэте, – продолжает он, – искренность того чувства, с которым он лирически относится к мирозданию и к человеку»³¹⁷.

Чувство – все,

Имя – звук и дым

Вокруг огня небес!³¹⁸

Любовь же «состоит не в том, чтобы беречь в личностях их слабые стороны, а в том, чтобы уважать в них непременное»³¹⁹. Главное в произведении – отсутствие претензий и насмешливого тона³²⁰. Только такая литература может быть названа народной. Про народного писателя можно сказать, что его талант «носит в себе формы идеала. Душа же человеческая – стремление к оному. И потому самому, вследствие прямого отношения к действительности, она проясняется, так сказать, оразумливается для таланта, и ясно выступают для души человеческой из-за преходящих явлений непременные и вечные законы правды, и снова крепко срастаются и сплавиваются ее распавшиеся основы, – и многие простые старые истины возникают обновленные из хаотически-романтического брожения, грозившего поглотить их»³²¹. Конечно, Григорьев крайне субъективен. Строго говоря, он оценивал автора настолько высоко, насколько произведения последнего подходили чаяниям его души. Его критерии искусства весьма узки и почти не выходят за рамки социальных идей. Только Островский безоговорочно признавался им за современного гения, того, кто сказал в искусстве «новое слово»; и это понятно: именно Островский выразил в пьесах тот мир и те отношения, в котором жил и которые воспевал Григорьев.

Однако – объективно – оказалось, что деятельность критика имела более широкое значение, чем можно было бы предположить. Деятельность «молодой редакции» проходила в эпоху «мрачного семилетия». После европейских революций 1848 года наступила эпоха цензурного гнета. «Явились подозрительные отношения к науке, враждебное настроение против утопистов, идеалистов, ученых, расплодившихся без меры и без ведома правительства под сенью университетов. Цензура печати наравне с цензурой нравов и убеждений отданы были на произвол «ведомствам»... образовалась умственная пустота в общественной жизни»³²². Литературная критика, представленная в основном западниками-либералами, после смерти Белинского, отъезда Герцена и краха своих идеалов в Европе, находилась в глубоком кризисе. Она проникнулась позитивистским духом,

не апеллируя к высшим ценностям и рассматривая литературу не с точки зрения идеалов, а с точки зрения сиюминутной полезности. Дружинин, Панаев и др. говорили, что «в настоящую минуту нужнее всего беллетристика, что количество литературных произведений важнее их качества, что говорить о литературе серьезно – не в духе времени, даже неприлично,... что журналы существуют и должны существовать для сварения желудка иногородних подписчиков и т.п. Начнете вы говорить о законах искусства, – возмущался наш герой, – и, в особенности, употребите вы некоторые, понятные всякому образованному человеку, термины, как-то: художественность, объективность, творчество, психологическая задача: фельетонисты–насекомые зажуужжат пронзительно: все это старо; все это известно... Что такое, дескать, творчество? Все это вздор, произведение нравится публике, удовлетворяет *интересам минуты, потребностям* массы и потому хорошо. Что такое талант?.. ум, вкус, наблюдательность – вот и все. Что такое основные начала?.. общие места, которые повторялись, повторялись и сделались наконец пошлыми»³²³. В такой атмосфере голос Григорьева единственный взывал к метафизическим, пусть очень субъективно понимаемым, основам прекрасного. Он казался «знамением времени, как бы указывавшим на скорое появление новых сил и литературных задач»³²⁴.

Аполлон был столь увлечен своими новыми идеями, что почел себя чуть ли не пророком нового миропонимания, способного принципиально изменить общество. «На тех, – провозглашает он, – которые прежде других почувствовали правду, лежит прямая обязанность разъяснять ее, по силам и по разумению, для самих себя и для других, не боясь даже впасть в увлечения»³²⁵. Такую форму приняло его глубинное стремление к самореализации, служению общественному долгу:

И в бой, кровавый, смертный бой
Вступить с врагами мы готовы:
Святыню мы несем с собой –
И поднимаем меч Еговы³²⁶.

Но, как всякое пророчество, речи Григорьева были темны, полны туманных формулировок, намеков, личных ассоциаций. Не раз, начиная цикл статей, он бросал его на первой же. «К сожалению любопытствующих поближе познакомится с этими взглядами и теориями, – сетует Панев, – статьи молодой редакции обыкновенно прерываются на половине или на самом начале – и так и остаются неоконченными. Задуманные всегда (судя по началам) широко, глубоко и добросовестно, они имеют вид тех огромных и хитро задуманных зданий, которые так же прихотливо начаты, как и брошены, и с бесчисленными полусгнившими и почерневшими лесами представляют печальный вид бесполезно пропавшего труда и бесполезно погибших материалов... Смотря на эти громадные леса, на эти груды кирпичей, думаешь: «а ведь, может быть, из этого что–нибудь и вышло бы!» и в то же время досадуешь, что полусгнившие леса и обвалившиеся кирпичи – ничего не доказавшие, занимают без толку пространство, из которого можно было бы извлечь какую–нибудь пользу, которое не пропало бы даром. Что нам за дело до того, если обломки недоконченного здания намекают на талант, вкус и добросовестность архитектора? Что нам за дело до того, что он что–то хотел сказать этим зданием? Мысль в зачатии, как бы она ни казалась широка и глубока, ровно ничего не значит в сравнении с самой обыкновенной, вседневной мыслью, развитой и окончательно высказанной»³²⁷. По этой причине статьи Аполлона Григорьева никогда не вызывали вокруг себя полемики; максимум они навлекали насмешки за тяжелый стиль и любовь к неологизмам.

Между тем дела «Москвитянина» шли все хуже и хуже. Журнал никогда популярен не был. К настоящему моменту он уже издавался десять лет (с 1841 года). Видом же своим он переносил читателя в 1820–е годы: свинцового цвета обертка, которая, по словам современника, годится только разве для чая³²⁸, грубая бумага, разбитый шрифт и масса опечаток. Официальная направленность не приносила более 300 подписчиков. Это и подтолкнуло Погодина постараться обновить свое издание с помощью

привлечения новых сил. Так появился кружок «Москвитянина» о чем мы говорили выше. Однако ожидаемого возрождения не произошло. Погодин не передал Островскому редакторство полностью, как дал понять в начале. Он предоставил половинное управление журналом, создав тем самым две редакции, – «старую» и «молодую». «Молодая редакция» могла печатать по своему усмотрению беллетристику, критические статьи, рецензии и фельетоны, но не касаясь социально–политических вопросов. Более того, Михаил Петрович любил делать подстрочные комментарии в статьях молодежи и даже делать произвольные вставки. ««Москвитянин», – вспоминал Григорьев, – страдал изначала той несчастной солидарностью со старым хламом и старыми тряпками, которая впоследствии подрезывала все побеги молодости... Напишешь, бывало, статью о современной литературе... и вдруг, к изумлению и ужасу, видишь, что в нее к именам Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Хомякова, Огарева, Фета, Полонского, Мея втесались в содейство имена графини Ростопчиной, г–жи Каролины Павловой, г. М. Дмитриева, г. Федорова и – о ужас! Авдотьи Глинки! Видишь и глазам своим не веришь! Кажется – и последнюю корректуру даже прочел, а вдруг точно по манию волшебного жезла явились в печати незванные гости»³²⁹. Такой контроль очень раздражал молодых сотрудников и являлся основой для постоянных препирательств. К этому добавлялись неразбериха в конторе, так что пропадали безвозвратно целые рукописи и, уже упомянутая, скупость Погодина. Сотрудники «Москвитянина» за печатный лист получали 15 рублей, тогда как в других изданиях платили по 50–100 рублей. Так что последние пять лет своего существования «Москвитянин» держался исключительно на энтузиазме молодежи. Но и энтузиазму приходит конец. Не имея возможности под опекой Погодина развернуться так широко, как хотелось бы, страдая от постоянного безденежья, устав от разгульной жизни – кружок постепенно стал расстраиваться. К 1855 году его уже не существовало. Только Григорьев все еще старался воскресить издание и вернуть сотрудников. Он обещал Погодину поднять журнал, если тот

передаст ему редакторство и даст средства на привлечение новых сил. Но профессор тянул время, жалея деньги на, по его мнению, бесперспективное дело. В 1857 году журнал не вышел. Аполлон переживал это как личную трагедию – он лишался возможности деятельного участия в общественной жизни. Переговоры с Дружининым, Панаевым и Кошелевым привели только к кратковременному участию в их изданиях, поскольку Аполлон просил везде раздел критики в безраздельное владение. Он снова оказался в тупике. С жаждой деятельности, с сознанием собственной правды и невозможностью высказаться. И снова любовь подвигла его на решительный шаг.

В 1850 году Григорьев был переведен учителем законоведения в Московский воспитательный дом. Одним из надзирателей этого заведения состоял Яков Иванович Визард, математик, сын выходца из французской Швейцарии. Жил он в главном корпусе воспитательного дома с двумя сыновьями и двумя дочерьми. Мать их жила отдельно в частном доме близ Донского монастыря. Часто во время большой перемены Яков Иванович приводил на квартиру учителей “выкурить трубку”. “Из всей массы заходивших, – вспоминала младшая его дочь Евгения Яковлевна, – один только Григорьев “пришелся нам ко двору”, стал настоящим знакомым... так как был очень приятным собеседником”³³⁰. Вскоре он начал часто заходить и во внеурочное время, принося сестрам, которые приготавливались дома к экзамену на звание домашней учительницы, книги. Надо сказать, что в собственном доме Аполлона Александровича все было совсем не благополучно. Жена ругалась и пила, пил с горя и Григорьев, дети были позаброшены, хозяйство бестолково – никакого взаимопонимания. А тут ему встречается старшая сестра – Леонида Яковлевна Визард. Она “была замечательно изящна, хорошенькая, очень умна, талантлива, превосходная музыкантша... Ум ее был живой, но характер очень сдержанный и осторожный... Противуположностей в ней было масса, даже в наружности. Прекрасные, густейшие, даже с синеватым отливом, как у цыганки, волосы и

голубые большие прекрасные глаза”³³¹. Через некоторое время, в 1852 году, Аполлон не выдержал – влюбился. Любовь его была так же идеальна, как когда-то любовь к Антонине Корш. Он даже вел себя схоже. “В ее обществе он бывал всегда трезв и изображал из себя умного, несколько разочарованного молодого человека, а в мужской компании являлся в своем настоящем виде – кутящим студентом”³³². Он даже собирался поставить в домашнем театре “Маскарад”, где собирался играть Арбенина, а Леонида Яковлевна должна была изображать Нину. Аполлон, конечно, не встретил взаимности, вряд ли даже его возлюбленная подозревала, какие чувства она внушает одному из членов ее общества. Григорьев же постоянно терзался в путах несчастливого брака:

К чему они, к чему свиданья эти?
 Бессонницы – расплата мне за них!
 А между тем, как зверь, попавший в сети,
 Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
 Я к ним привык, к мучительным свиданьям...
 Я опиум готов, как турок, пить,
 Чтоб муку их в душе своей продлить,
 Чтоб дольше жить живым воспоминаньем...
 Чтоб грезить ночь и целый день бродить
 В чаду мечты со сладким обаяньем
 Задумчиво опущенных очей!
 Мне жизнь темна без света их лучей³³³.

Так прошло три года. На масленицу 1855 года к Леониде Яковлевне посватался Михаил Владыкин, человек положительный, бывший военный инженер. Он был принят, и в 1856 году сыграли свадьбу. Жили они счастливо и мирно, Леонида увлеклась медициной, окончила курс в Швейцарии и, став доктором, защитила диссертацию «О влиянии цианистого калия на организм кроликов»...

Григорьев был истерзан и опустошен. Плачь «Цыганской венгерки» – это плач по Леониде. Он снова сжигает за собой мосты – в августе 1857

года с помощью Погодина он уезжает в Италию домашним учителем семьи князей Трубецких.

Таким образом, в описанный период Аполлон Григорьев формулирует основы своих взглядов. Обретя собственную идентичность, возвратившись к своей эмоциональной природе, – неверие в чувство он провозглашает *ложью* перед самим собой. *Лжи* он противопоставляет *непосредственность* – следование голосу чувства. В этом он, конечно, прав, но прав только в своем случае: у каждого природа разная – и универсализация Григорьевым *своей* правды неизбежно приводит к схематизации. Межчеловеческие отношения, основанные на *лжи*, он называет *напыщенностью* и противопоставляет им *демократизм* – мир непосредственных отношений, который он обрел в кружке «молодой редакции» «Москвитянина», среди городских низов. Наконец, он определяет значимость искусства как проводника в поисках гармонии с самим собой.

Итак, *непосредственность*, *демократизм* и *искусство* – вот основные принципы, найденные Григорьевым, которые он будет развивать в следующий период.

Глава 5. Небеззаботные скитания (1857 – 1864).

С тяжелым сердцем ехал Григорьев. Обратясь к православию, он не мог не принять соответствующую этику, тем более, что его учителями были люди строгие – Погодин и Гоголь. Письма Аполлона к Михаилу Петровичу носят следы частых и нелицеприятных для Григорьева бесед. Григорьев старался, действительно старался, исправиться. Он часто казнил себя за распущенность:

Но если б я свободен даже был, – переживал он, вспоминая Леониду Яковлевну, –

Бог и тогда б наш путь разъединил,
И был бы прав суровый суд господень!
Не мне удел с тобою был бы дан...
Я веком развращен, сам внутренне развратен;
На сердце у меня глубоких много ран
И несмываемых на жизни много пятен...³³⁴

Ему даже приходит мысль, что гибель «Москвитянина» и нереализованность связанного с ним направления – кара недостойному образу жизни³³⁵.

Но ведь что влекло Григорьева и его товарищей к беспутству? Эмоциональный порыв, реализация принципа «жизни по душе». Принципа, обретенного Аполлоном как откровение при обращении к вере. Выходило, что, вроде, высвобождение чувства – это и суть и препятствие православного пути. Бог, Он где? – в традиционной морали или в вакханалиях непосредственного чувства, – «лихорадке смутной, но всю натуру... проникающей веры»?³³⁶ Может быть, Бог – это Закон, карающее Правосудие, а, может, все-таки Любовь всепрощающая и всепонимающая, милосердие к заблудшим, но искренне верящим?.. Цепенеющий в сомнении, Григорьев безуспешно пытался рассуждать о природе Создателя:

Свершают непреложные законы
 Все бранные создания Твои,
 А Ты глядишь, как гибнут миллионы
 С иронией божественной Любви...

А все порой на свод небесный взглянешь
 С молитвой, самому себе смешной,
 И детские предания вспомняешь,
 И чудо, ждешь, свершится над тобой...

Ведь жили ж так отцы и деды прежде
 И над собой видали чудеса,
 И вырастили нас в слепой надежде,
 Что для людей доступны небеса...³³⁷

И рефлексия, как всегда у людей такого склада, как Григорьев, ни к чему не приводила... Расколотый, измотанный, напрасно пытающийся себе что-то доказать, критик ступил на немецкую землю, чтобы через всю Европу добраться до Тосканы, где в нескольких километрах от Луки, стояла вилла Трубецких – Сан-Панкратио.

«Новость различных впечатлений и быстрота, с которой они сменялись, – сообщал он по прибытии, – подействовали на меня лихорадочно-лирически. Я истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью; плакал на Пражском мосту в виду Пражского Кремля, плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами и на всяком шаге из какого-то глупого удальства подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами; одурел (буквально одурел) в Венеции, два дни в которой до сих пор кажутся мне каким-то волшебным фантастическим сном»³³⁸. «Италия, – говорил он Е. Протопоповой, учительнице фортепиано у Визардов, – яд такой натуры, как моя: в ней есть что-то наркотическое, страшно раздражительно действующее на нервы...»³³⁹.

Но Италия дала ему то, чего недоставало — «откровение»^{*} пластического^{**}»³⁴⁰. В Москве тогда не было сколько-нибудь достойного собрания картин, поэтому наш герой знакомился с живописью в основном по гравюрам. Теперь же, пишет он из Флоренции, «во мне открылся новый, доселе мне неведомый орган — орган понимания красоты в пластическом искусстве. Началось это с того, что придя в первый раз в галерею Питти, я как ошеломленный остановился перед одной картиной («Мадонна с младенцем» Мурильо. — П.К.) — а за сим уже стал *искренне*, не казенно присматриваться к другим... Это просто странное дело! В эту картину...я влюбился совсем так же, как способен был влюбиться в женщин, то есть безумно, неотвязно, болезненно...»³⁴¹. «По целым часам, — продолжает он, — я не выхожу из галерей, но на чтобы я не смотрел, все раза три возвращусь к Мадонне. Поверите ли, что когда я первые раза смотрел на нее — мне случалось плакать...Да! Это странно, не правда ли? Этакого высочайшего идеала женственности по моим о женственности представлениям — я и во сне даже до сих пор не видывал...Есть тайна — полутехническая, полудушевная в ее создании. Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно-нежный, девственно-строгий и задумчивый лик...— это *ne tour de force*»^{***} искусства. Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розово-палевого сияния зари»³⁴².

С тех пор всякое художество «и флорентинское, и римское, и венецианское, и неаполитанское, и испанское, и фламандское, — продолжает он, — запело мне свои многообразные симфонии о душе и ее идеалах — то скрипкой Рафаэля, то густыми, темными и глубоко страстными тонами

* Выделено нами.

** Имеется в виду живопись.

*** Ловкий трюк (*фр.*).

виолончели Мурильо, то яркою и чувственно–верующей флейтой Тициана, то органом старых мастеров и потерянным, забытым инструментом, стеклянной гармонией фра Беато Анджелико, то листовским, чудовищным фортепиано Микель Анджело – и я отдался этому миру столь же искренно, как мирам Шекспира, Бетховена, Шеллинга»³⁴³.

«Чадом опиума, – делится он с Фетом, – постоянно полна моя голова от мира Питти, Уфици и Академии. Все, что я предугадывал мыслью, приняло для меня плоть и образ»³⁴⁴. Вот – поворотный момент; вот – точка максимальной интеграции внутреннего мира Аполлона Григорьева. Для нашего героя столь вдохновенное пламенение чувства не могло не быть истинным. Чистота порыва не могла не быть беспорочной. Умиленный восторг не мог не быть божественным. Эти переживания оказались решающим аргументом во внутреннем споре Григорьева. Ему становится очевидным, что сердце не может лгать, что оно всегда стремится к идеалу красоты, которая и правда, и любовь. «Не слушай никого, – мерещился ему иногда вечерами шепот одного забытого привидения из одной забытой книги,^{*} – слушай только себя, покоряйся только своему сердцу. Ты задавил его, а от него только счастье... Дай ему волю, полную, безграничную волю»³⁴⁵. И поскольку Аполлон полагал, что душа человека – зеркало Бесконечного Творца³⁴⁶, то в его сознании Бог становится тождественен Красоте, которая и Правда, и Любовь³⁴⁷. В красоте – истина, и красотой же одной входит она в душу человека³⁴⁸. И теперь до конца на знамени Григорьева будут слова Гете:

Наполни же все сердце чувством
И если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, бог!
Нет имени ему! Все в чувстве!³⁴⁹

* Бабки Левина в «Идеалисте» Станкевича.

Итак, в душе нашего героя чувство окончательно и полностью заняло полагающееся ему место. Характерно в этом смысле замечание Ф.Достоевского, познакомившегося с критиком уже после описанных событий. Ему Григорьев представлялся в первую очередь как натура *цельная*. «Раздваивался он жизненно менее других, – комментирует писатель воспоминания Страхова, – и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени» одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины... он заболел тоской своей весь, целиком, всем человеком, если позволяют так выразиться»³⁵⁰. Согласитесь, что такая характеристика ранее вряд ли была бы возможна.

Чувство, конечно, по природе своей более монолитно, нежели мышление, но оно и уводит за собой дальше, глубже; сознание захлебывается в нем, закручивается и гаснет. Эмоциональные люди – люди *широкие*.

Уж если пить, – скажет Григорьев, – так выпить океан!

Кутить – так пир горой и хор цыган!³⁵¹

Силы его души теперь изливались без всяких препятствий, и учение Христа для него стало учением свободы; вообще, всякая истина – свободна³⁵². Еще в начале работы мы обращали внимание читателя на склонность нашего героя к чудесному. В отрочестве, когда он читал «Ундину» Фуке, «эльфы и феи кружились перед ним»; в Петербурге ему «слышался жалобный визг неприкаянных духов, и он дрожал от холода прикосновения мертвых пальцев байроновской Франчески и видел сквозь их прозрачность размытую луну; потом он тонул в вакхическом безумстве коринфской невесты, после которого ему мерещилась зеленая змейка в золотом горшке»³⁵³... Теперь он признает законность этих порывов, их высший смысл прорыва в трансцендентное, их чудесность. Аполлон Григорьев становится мистиком. Он отрицается от идеи отвлеченности идеального от жизни, оно для него – в сердце каждого³⁵⁴. Бог существует не в отрешенности от человеческого субъекта и по ту сторону жизни, а всегда находится в личном

контакте с человеком, постоянно присутствует в нем в виде голоса чувства. Тем самым Аполлон становился оправданным перед людьми и перед собой: теперь, вспоминая погребки, в которых они с Эдельсоном проводили ночи в пьянстве, песнях и разврате – он был уверен в своей правоте³⁵⁵. «Господь, заступник мой – кого убоюсь? – пламенело в его душе. – Он ведь знал, что, несмотря на все мои безобразия, я честно и искренне служил и служу тому, что считаю своим верованием»³⁵⁶. Он видел себя блудницей, прощаемой Христом³⁵⁷.

Иногда его чувство доходило до очень большой интенсивности, переходя, в экстатичность. «Веря в Бога глубоко и пламенно, – описывал он Погдину свое пребывание в Париже, где оказался без средств, знакомых и перспектив, – видевши Его очевидное вмешательство в мою судьбу, Его чудеса над собою – я привык обращаться с Ним запанибрата, я – страшно вымолвить – ругался с Ним, но ведь Он знал, что эти стоны и ругательства – вера»³⁵⁸. Он доходил до того, что «мучимый своим неистовым темпераментом, в Лувре молил *Венеру Милосскую**, и чрезвычайно искренне (особенно после пьяной ночи), послать женщину, которая была бы жрицей, а не торговкой сладострастия»³⁵⁹. А вот что рассказывает Страхов: Григорьев, «сильно мучился сомнением, не зная, как ему поступить в одном житейском деле^{**}. Он спрашивал моего совета и однажды вздумал настаивать, чтобы я решил за него. Когда я отказался решать дело, которое неясно понимал, он стал просить, чтобы я помолился и испросил решения свыше. Хмельной, указывая на стену своей комнаты, он настойчиво повторял: *Geh und bete!**** Не могу передать, как поразила меня тогда сила и искренность его мистической уверенности****»³⁶⁰.

* Выделено нами.

** В отношениях с женой.

*** Иди и молись!

**** А Григорьев ему еще скажет потом: «Напрасно не послушал ты меня тогда, когда я говорил тебе *Geh und bete*... Может быть, стена и разверзлась бы».(Письма. С.273).

Аполлон Александрович продолжал считать себя православным и даже подчеркивал это, хотя сознавал, что его вера далеко отстоит от традиционной. Свою веру он называл «народным православием», главная характеристика которого – органическая слитость, непротиворечивость человеческой природе. «Православие народное, – пояснял он, – *выросло* как растение, а не *выстроено* по русской земле: оно не тронуло даже языческого быта, когда он радикально ему не противодействовал. Все, что было в язычестве старом существенно–народного, праздничного, живого, даже веселого без резкого противоречия духу Того, Кто Сам претворил воду в *вино** на браке в Кане галилейской – все уцелело под сенью этого растения»³⁶¹. Мы узнаём в этой туманности мистических фантазий мир григорьевского детства, мир мягко зовущей сказочности, мир, рождаемый апокрифическими рассказами дворни.

Григорьев и не старался упорядочить свои взгляды, ведь человеку нет нужды объяснять свои светлые чувства – это только испошлит их. Во время пребывания во Флоренции он беседовал с отцом Травлинским, священником домашней церкви князя А.Демидова. После разговора он записал: «Оказалось ясно как день, что под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно–историческое начало...это начало на почве...преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата – должно обновить мир»³⁶². Почти ничего не понятно, правда?

В другом отрывке критик пишет, что под православием понимает равно «православие отца Парфения и какого–нибудь раскольничьего архиерея Андрюшки»³⁶³. И тот и другой не покривили душой – один, когда писал книгу своих хождений, проникнутую высокой и строгой духовностью, непопулярной в публике; второй, когда пошел против государства,

* Выделено нами.

чтобы сохранить свои идеалы. *Свобода и естественность* – вот столпы «народного православия».

«Народное православие» противостоит «официальному православию», которое, соответственно, не свободно и не естественно. «Это мерзость несодеянная...< которая> происходит от одной причины: от неверия в жизнь, идеалы и искусство»³⁶⁴. Григорьеву теперь бросается в глаза неизбежная сторона любой религии, эксплуатируемой государством, – ложность традиционной религиозности, за которой часто стоит или ханжество, или тупое безверие. Ему кажется, что традиционная мораль – только лишь навязанные и угнетающие дешевые сентенции, необходимые для оберегания затхлого мещанского покоя. Она слишком тесна для него. Но Григорьев не говорит: «Воруй, пьянствуй, шатайся – а говорит... что «Любим Торцов пьяница – а лучше вас всех!» – потому, дескать, что если вы не пьянствуете, не бесчинствуете и не шатаетесь, – то делаете это не по сознанию высших законов, а в уважение чувству...холопскому, которому вы отдали и душу, и жизнь, и даже просто ваши внутренние влечения жить по душе»³⁶⁵. Для него государственная церковь – «церковь иже во Христе жандармствующих»³⁶⁶. Как вдруг познавший истину, Аполлон первое время был особенно беспощаден к тем, кто не соглашался с его мнением. У Трубецких жил некто И. Бецкой, как полагает Б.Ф. Егоров, незаконнорожденный сын умершего князя³⁶⁷. Человек он был тихий, недалекий, птичек любил певчих, искусством интересовался³⁶⁸. Он просто не разделял с Григорьевым взгляды на воспитание, полагая, что до определенного возраста не следует знакомить детей по этическим соображениям с некоторыми произведениями. Наверняка, он так же не одобрял образ жизни учителя молодого князя. И вот как представляет его в письмах наш герой: Бецкой – это «пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви»³⁶⁹, «гнусная гнида с неприличных мест графа Закревского!.. Вот, если когда-нибудь душа моя способна к ненависти, так это в отношении к подобным мерзавцам. Хамство, ханжество, нравственный и, кажется, даже

физический онанизм, подлое своекорыстие, тупоумие и вместе пронырливость – вот элементы подобных натур. Православие Андрея Муравьева в соединении с фамусовским взглядом на просвещение. Этот господин считает «Горе от ума» *непозволительной* для юношества – вот его мерка»³⁷⁰.

Мистицизм Григорьева имел еще одну особенность – пантеистичность. Хотя прежде он и подсмеивался над пантеистами, упрекая их в подчинении человека природе – но теперь, провозгласив присутствие Бога в сердце каждого и, соответственно, его разлитость в мире, он не смог не сказать:

Привыкли плоть делить мы с духом...
 Но тот, кто слышит чутким ухом
 Природы пульс...будь жизнью чист
 И непорочен перед богом,
 А все же, взявши в смысле строгом,
 И он частенько пантеист
 И пантеист весьма во многом³⁷¹.

Пантеистичность для него – созерцание самых тонких, почти неуловимых черт природы и «полнейшее, почти непосредственное слияние с нею»³⁷². То созерцание, которое особенно ярко в том «совершенно непосредственном, часто вовсе неоразумленном, чувстве, которым дышат лучшие стихотворения Фета, в тонкой живописи Тургенева, в туманном, мечтательном, вечерней или утренней зарею обликом, колорите вдохновений Полонского. Что такое, например, весь Фет в его «Вечерах и ночах» в его многообразных весенних песнях? Весь какое-то дыхание, какая-то нега, моральная истома. Помните,

Шепот, робкое дыханье,
 Трели соловья...*

* Шепот, робкое дыханье,
 Трели соловья,
 Серебро и колыханье
 Сонного ручья,
 Свет ночной, ночные тени,

Фантастически туманная, сказочная греза, наивная *до детства*^{*}, и притом до детства совершенно прирожденного, а не благоприобретенного...как в чудной грезе Фета:

Мы одни, из сада в стекла окон^{**}...

греза, вдаваясь в которую вы начинаете думать, что поэт сам сидел на «на суку извилистом и чудном», на котором сидит его жар–птица»³⁷³.

Вот что творилось в душе коллежского асессора Аполлона Александровича Григорьева осенью 1857 года в прекрасной Италии.

Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

* Выделено нами.

** Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц...тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи мая?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей, над розой изнывая?

Иль проснулись птички за кустами,
Там, где ветер колыхал их гнезды,
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе к нам нисходят звезды?

На суку извилистом и чудном,
Пестрых сказок пышная жилица,
Вся в огне, в сияньи изумрудном,
Над водой качается жар–птица;

Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мешут
И алмазной пылью водометы.

Листья полны светлых насекомых,
Все растет и рвется он из меры,
Много снов проносится знакомых,
И на сердце много сладкой веры,

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным;
Миг еще – и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц...тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон
Развиваясь, падает на плечи.

Поначалу все шло нормально. У Трубецких, пишет Григорьев Погодину, «мне пока хорошо – и, кажется, меня полюбили. Я знаю, что свое дело я делаю несколько больше, чем добросовестно. Я два раза в день занимаюсь с князем: утром теоретически, вечером практически. В это дело мне, слава Богу, приходится вносить всю душу – и оно для меня есть настоящее дело»³⁷⁴. «*Несколько больше*» – это немного–немало стремление перевоспитать мальчика. Из пятнадцатилетнего барчонка, уже наполненного праздной пустотой и дешевой практичностью, наш романтик, видимо, хотел сделать идеалиста тридцатых годов. «Что бы ни было, – с энтузиазмом говорил он, – все усилия положу, чтоб чего–нибудь добиться от этой натуры. Недаром же Бог именно меня, то есть ходячий вулкан, послал в этот мирок... Неужели же энергия, честная и страстная, останется бесплодна?»³⁷⁵ По утрам проходили грамматику, Закон Божий, историю и латинский язык; вечером Аполлон читал князю Ивану и его сестрам произведения русской литературы. К нему привязались. Общество, собираемое старшей сестрой – в замужестве Геркен – с благосклонным интересом слушало философические мечтания литератора–оригинала. А тот уже наивно представлял себя читающим лекции всей окрестной молодежи. Кроме домашнего круга, сообщал он, «я завел свой мир, особенный, в нескольких русских семьях, мир, в который внес я всего себя, то есть фанатизм демократии, ругательство бесчинное над светскими условиями, *«воспитание кобыльского кабака»* и лихорадку своей страстности... Мирок стал жить моею жизнью, заслушиваться моих необузданных речей, хохотать над «ярыжными» выходками и жить со мною вместе наполовину поэзией итальянского искусства, наполовину беснованием цыганских песен»³⁷⁶. Григорьев, конечно, обманывался: он был всего лишь развлечением, наряду с картами, обедами и конными прогулками. Впрочем, одна впечатлительная натура действительно потянулась к нему. Это была Ольга Мельникова, чахоточная. «По тому вечному и неотразимому закону, который влечет впечатлительную душу к безобразию» она начала «особенно сильно

подвергаться влиянию моей лихорадки», – рассказывал наш герой³⁷⁷. Он был опять влюблен «(читайте *vlublon* с офицерским произношением)»³⁷⁸. Но страсть не была долгой – весной 1858 года Мельниковы вернулись в Россию. Немного пострадав, Аполлон все забыл.

А дела, между тем, шли все хуже и хуже. О князе Иване он пишет: «Он один день поразит меня способностью понять серьезное в науке и в жизни, сочувствием высокому и прекрасному, – другой день мне приходится толковать с ним буквально как Чичиков с Коробочкой, до поту лица, до желчи, – на третий день он опять поразит меня добровольным, искренним отречением от пошлости и глупости, которую накануне никак не хотел признавать за пошлость и глупость, а на четвертый – в его мышлении или чувстве выскочит новая пошлость и глупость, с которой опять борись и так *usque ad infinitum* *»³⁷⁹. В минуту такого раздражения он писал Погдину: «Ни одной человеческой мысли не привьешь ему вовнутрь. Все один лак, тщеславие, мелочность души флорентийца с дубовым упорством русского барича»³⁸⁰. Теперь обстановка в семействе Трубецких рисуется ему совсем в иных тонах: «хаос невежества, пошлости, деспотизма и дразгов... Собачий лай княгини **, подлость Бецкого, тщеславие и капризы моего воспитанника, в сущности повелевающего матерью, идиотство старшей княжны, честная, но дикая мораль мистера Бэля ***»³⁸¹. Наш герой начинает хандрить, мучится воспоминаниями о Москве и одиночеством. «Расстройство нервов, – рассказывает он о зимнем карнавале во Флоренции, – дошло у меня до того, что я готов был плакать, что со мной бывает редко. Когда на площади Санта Кроче показались два–три экипажа с масками да пробежала с неистовым криком толпа мальчишек за каким–то арлекином, когда

* До бесконечности.

** Леопольдина Юлия Тереза Трубецкая была всего лишь дочерью французского младшего офицера.

*** Бэль – англичанин, гувернер князя, человек добродетельный, но очень недалекий.

потом целые улицы покрылись масками и экипажами до самого Собора – мне все это показалось как-то мизерным и вовсе не поэтическим... У меня рисовалась наша Масленица – наш добрый, умный и *широкий* народ с загулами, запоями, колоссальным распутством... Во всем этом ужасном безобразии даровитого и могучего, свежего племени – гораздо больше живого и увлекающего, чем в последних судорогах отжившей жизни. Мне представлялись летние монастырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы, ее крестные ходы и проч. – все, чему...я отдавался всегда со всем увлечением моего *мужицкого* сердца... Я углубился в те улицы, где никого не было, я долго ходил со своими сокровищами, со своими воспоминаниями... Когда я воротился в свою одинокую, холодную, мраморную комнату, когда я почувствовал свое *ужасное* одиночество – я рыдал целый час, как женщина, до истерики»³⁸². «Всё, кроме картин и памятников, – сетует он Эдельсону, – стоит здесь настолько ниже нашего уровня, что ты представить себе не можешь»³⁸³. Он начинает пить, напивается на одном великосветском обеде, чего княгиня не может ему простить. Отношения с ней становятся все хуже и хуже – он съезжает. Мысль о возвращении в Россию и возобновлении литературной деятельности не покидает его. Как раз в марте 1858 года он встречается во Флоренции Полонского. Университетский товарищ Аполлона был приглашен графом Кушелевым–Безбородко в соредакторы организуемого им журнала «Русское слово». Познакомившись с графом, Григорьев был также приглашен в соредакторы. Авансом он получил значительную сумму и, распростившись с уроками, поехал с литераторами в Париж. «Как я жил в Париже, – пишет он Протопоповой, – об этом лучше не спрашивайте»³⁸⁴. Он встретил там некоего Максима Афанасьева – товарища по московской питейной компании. И пошло–поехало... Полонский рассказывал будто Григорьев говорил ему, что хочет напиться до «адской девы»³⁸⁵. Прокутившись, он занял у товарища еще двадцать червонцев, но и это быстро разошлось. В начале октября Григорьев без денег и без теплой одежды оказал-

ся в Берлине. Продав последнее – ящик с книгами и гравюрами, собранными в Италии, он еще некоторое время мыкается в столице Пруссии. «Каинскую тоску одиночества, – вспоминал он, – я испытывал. Чтобы заглушить ее я жег коньяк и пил до утра, пил один и не мог напиться!»³⁸⁶ И только в конце октября 1858 года он, измотанный, но с надеждой на новый журнал, приезжает в Петербург.

В оставшийся для своих мытарств шестилетний срок, Аполлон Григорьев одержим идеей выполнения гражданского долга – донесения читателю открытий, его посетивших. Это самый плодотворный период его литературной деятельности. Кристаллизуется более–менее четкая система взглядов, самобытно отличающаяся не только от славянофильства, но даже, в некоторой степени, от почвенничества – направления журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», – в которых он активно сотрудничал. Нам кажется, что григорьевские взгляды были несовременны и по сути своей оставались в идеалистических сороковых годах. Но, может быть, благодаря этой отстраненности, и даже, быть может, вопреки своей воле, Григорьев указал на некоторые потаенные противоречия эпохи либеральных реформ. Сейчас мы постараемся представить читателю его идеи.

Ведомый своим внутренним опытом, Григорьев начинает с критики рационализма как основы мировосприятия. «Да, – провозглашает он, – жизнь была бы не только убийственно скучна, но и мизерна, кабы в ней все совершалось по череповым выкладкам»³⁸⁷. Для него рациональность всегда будет ассоциироваться с лихорадочными, болезненно–мучительными порывами безысходной рефлексии петербургской молодости. Кто живет одною мыслию, в том нет условия для счастья, потому что «всю непосредственность чувства подтачивает у них холодное рассуждение»³⁸⁸. «Бессильна становится мысль, – размышляет он о рефлексии, – истощенная вращением в одном и том же безысходном, околдованном круге, тупея в застое, на который сама себя осудила... и под гнетом бессильной, тяжелой мысли, которая то стареет, то шалее, и все становится притяза-

тельнее, тащится человек по жизни, словно кляча, сбиваясь с дороги»³⁸⁹. Отвлеченная мысль – не созвучна течению жизни. Ведь жизнь «есть нечто *таинственное*, то есть потому таинственное, что она есть нечто неисчерпаемое; «бездна, поглощающая всякий конечный разум», по выражению одной старой *мистической** книги, – необъятная ширь, в которой... исчезает, как волна в океане, логический вывод какой бы то ни было умной головы – нечто даже ироническое, а вместе с тем, полное любви в своей глубокой иронии, изводящее из себя миры за мирами»³⁹⁰. Земной мир – это выражение Божественного Абсолюта, или Христа, или Любви, или Красоты, или Идеала – гармонии несоединенного в земной жизни, слияния всего, что кажется нам навеки разведенным³⁹¹. Через григорьевский Абсолют, несомненно, просвечивает Абсолют Шеллинга. Вообще, во взглядах немецкого философа, чье «Введение в философию мифологии» Аполлон прочитал осенью 1856 года, много созвучия его взглядам. Но только созвучия. Стало общим местом связывать чуть ли не все поздние идеи Григорьева с влиянием автора «Системы трансцендентального идеализма». Особенно податливы оказались зарубежные авторы, работы которых представляют чуть что не параллельные ряды из рассуждений Григорьева и его ученого вдохновителя. Отечественные ученые куда тоньше. Тем не менее, практически везде можно встретить рассуждения о взглядах литератора с отсылкой к тому или иному сочинению Шеллинга. Показательна в этом смысле последняя работа М.А. Ходанович, искушенного исследователя критика, – «Влияние философии Шеллинга на мировоззрение почвенников»³⁹². «Особо важно для Григорьева, – считает автор, давая цитату из него, – то, что Шеллинг в «своей единственно мироохватывающей системе остановился в немом благоговении перед безграничною бездною жизни...ибо правильные сами по себе выводы потенции при столкновении с веяниями вечной жизни подвергаются совершенно неожиданным видоиз-

* Выделено нами.

менениям» под влиянием безграничной жизни. Так (то есть *сразу*. – П.К.) Григорьев воспринял «шеллингианский культ жизни»»³⁹³. Это Григорьев-то?! То есть не было бессонницы, рыданий, тоски и запоев, не было озарений и статей в «Москвитянине» – все порешилось одной книжкой. Ну как же так!.. Нам все-таки кажется, что говорить о непосредственном влиянии Шеллинга уместно только в двух случаях – в понимании Григорьевым Абсолюта (как примирения противоположного, что мы отметили выше) и в его представлении о народном организме (проходящем три основные жизненные фазы, о чем ниже). Здесь мы не можем проследить самостоятельной кристаллизации идеи. Что же касается других элементов мировосприятия позднего Григорьева – представлений о человеке, методе познания, искусстве, народности и проч. – то совершенно очевидно их органическое становление, которое знакомство с Шеллингом могло только укрепить.

Но вернемся к главному. Анализ, по природе своей стремящийся к дроблению объекта изучения и болезненно реагирующий на противоречия, никак не может охватить мировое движение. Теории бессильны перед жизнью. Они, «как *итоги, выведенные из прошедшего рассудком*, правы всегда только в отношении к прошедшему, на которое они, как на жизнь, опираются; а прошедшее есть всегда только труп, покидаемый быстро текущею вперед жизнью, труп, в котором анатомия доберется до всего, кроме души. Теория вывела из известных данных известные законы и хочет заставить насильственно жить все последующие, раскрывающиеся данные, по этим логически правильным законам. Логическое бытие самих законов несомненно, мозговая работа по этим отвлеченным законам идет совершенно правильно, да идет-то она в отвлеченном, чисто логическом мире, мире в котором все имеет очевидную последовательность, в котором нет неисчерпаемого творчества жизни, называемой обыкновенно случайностью»³⁹⁴. Теория всегда деспотична: она выбирает только то, что под нее подходит – это не путеводная звезда, а анатомический нож. Мало того, современный рационализм, рационализм философов Просвещения и гегель-

янской школы, еще менее способен приблизиться к знанию, поскольку полагает бесконечным процесс мышления. А отсюда следует, что нет абсолютной истины, а коли таковой истины нет – значит ее место занимает последняя *относительная* истина, что, конечно, для Григорьева никак не приемлемо:

Истина найдена от века,
– бросает он оппонентам из Гете, –
...*Старую* истину усвой душе своей³⁹⁵.

Логический вывод, в глазах критика, абсолютно обесценен и годится, разве что, для знакомства с математикой, от которой ему «ни тепло, ни холодно»³⁹⁶. «*Истинная* истина, – старается убедить он, – нам не доказывается, а проповедуется; тем, разумеется, которые «могут прияти», истина бывает очевидна с первого же раза и дается не по частно, а всецело, или вообще не дается»³⁹⁷. И чтобы впитать в себя истину надо стать непосредственным, отдаться своей извечной природе – «эстетическому чувству»³⁹⁸. И тогда получится «жизнь любить – и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса...и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы, разоблачает свои новые тайны и разрушает наши старые теории»³⁹⁹. И тогда возможна органическая мысль, как форма умозаключения, потому что корни ее «в сердце, в его сочувствиях и отвращениях, в его горячих верованиях или таинственных, смутных, но неотразимых, и как некая сила, могущественных предчувствиях»⁴⁰⁰.

Искусство есть «*синтетическое*, цельное, непосредственное, пожалуй интуитивное, разумение жизни, в отличие от *знания*, то есть разумения аналитического, по частного, собирательного, поверяемого данными»⁴⁰¹. Потому «только то вносится в сокровищницу души нашей, что приняло художественный образ: все другое есть необходимая, конечно, но черновая работа»⁴⁰². Соответственно, «как скоро знание вызреет до жизненной полноты, оно стремится принять литые художественные формы»⁴⁰³. Со времен детства Григорьев искал в книгах созвучие своему внутреннему миру и,

несомненно, именно с тех пор он научился утешаться и укрепляться художественностью. «Нравственно выше, – убеждал он, – благороднее, чище выйдете вы из адских терзаний Отелло, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, – из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающейся перед вами в «Ревизоре», и пусть холод сжимал ваше сердце при чтении «Шинели», вы почувствуете, что этот холод освежил и отрезвил вас, и нет в вашем наслаждении ничего судорожного, и на душе у вас как-то торжественно. Миросозерцание поэта, невидимо присутствующее в создании, примирило вас, уяснивши вам смысл жизни»⁴⁰⁴. Отсюда он выводит общее значение искусства «как фокуса или сосредоточенного отражения жизни в том вечном и прекрасном, что таится под ее случайными явлениями»⁴⁰⁵. «Все, что есть в воздухе эпохи, свое или наносное, постоянное или преходящее, отразится в фокусе искусства так, что всякий почувствует правду отражения, всякий будет дивиться, как ему самому эта правда не предстала так же ярко»⁴⁰⁶.

Становится совершенно очевидным, что Григорьев стоял в стороне от главных течений литературной критики середины века. С одной стороны, он не принимал историческую критику левых, поскольку ему виделось, что последователи Белинского считали искусство призванным «дагеротипно–бесмысленно отражать жизнь во всем ее случайном и неслучайном»⁴⁰⁷. Кроме того, их взгляд «в художественных произведениях постоянно ищет преднамеренных теоретических целей, вне их лежащих; варварский взгляд, который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой, поставленной теорией, цели... яростное тупоумие, готовое на все, хоть бы, например, на такое положение, что «яблоко нарисованное никогда не может быть так вкусно, как яблоко настоящее» и что «писаная красавица никогда не удовлетворит человека, как живая»^{*}⁴⁰⁸. С другой стороны, он выступает и против эстети-

* Это тезисы Чернышевского.

ческого подхода, превращающего искусство в вещь в себе, находящего его смысл лишь в игре литературных форм. «Искусство существует, – подводит литератор итог, – для души человеческой и выражает ее вечную сущность в свободном творчестве образов и поэтому само оно – независимо, существует само по себе и само для себя, как все органическое, но душу и жизнь, а не пустую игру имеет своим органическим содержанием»⁴⁰⁹.

То есть искусство призвано в реальном искать стоящее за ним идеальное, тем самым озаряя жизнь высшим смыслом или, напротив, показывать, что некое явление его не имеет.

Сам путь творчества для Григорьева глубоко мистичен – это соприкосновение души и Идеала, реальное, почти до осязаемости; ее трепет под дыханием вечности. «Художник, – описывает он ступени этого пути, – прежде всего человек, то есть существо из плоти и крови, потомок таких или других предков, сын известной эпохи, известной страны, известной местности страны,... наиболее чуткий и отзывчивый на кровь, на местность, на историю... да, кроме того, у него есть своя, личная натура и своя личная жизнь; есть, наконец, сила ему данная, или, лучше сказать, сам он есть великая зиждительная сила, действующая по высшему закону. В те минуты, когда по зову сего закона

Бежит он дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берегах далеких волн,
В широкошумные дубровы,

в те минуты, когда у него

холод вдохновенья

Власы подьмлет на челе;

совершается с ним действительно нечто таинственное. Но эти минуты, в которые, по слову одного из таковых,... «растаять б можно», в которые «легко умереть», – подготовлены, может быть, множеством наблюдений, раскрывающих прозорливому наблюдателю смысл жизни, хотя никогда не преднамеренных; душевных страданий и умственных соображений. Когда

запас всего этого накопится до известной нужной меры, тогда некая молния освещает художнику его душевный мир и его отношения к жизни – и начинается творчество. Оно и начинается, и совершается в состоянии действительно близком к ясновидению, но и в это состояние художник вносит все Богом данные ему средства: и свой общий тип, и свою местность, и свою эпоху, и свою личную жизнь; одним словом, он творит не один и творчество его не есть только личное, хотя, с другой стороны, и не безличное, не без участия его души совершающееся»⁴¹⁰.

И поскольку искусство – это порыв сердца к Богу, в котором у каждого лежат «простые вечные истины»⁴¹¹, евангельские заповеди, то оно, если только искренно, не может не быть нравственным. «Искусство, которое восставало бы на *естественную... нравственность*, которое рекомендовало бы человечеству убивать, красть и т.п. – такого искусства не бывает, да и не будет. Правда,...называли героев Байрона и Пушкина уголовными преступниками; правда, что пуританские проповедники видели в творениях Шекспира уроки всякого беззакония и безобразия – но это доказывает только, что *errare humanum est*»⁴¹².

Итак, мы видим новое выражение старого григорьевского принципа – «*жизни по душе*». Теперь он выходит за пределы этики и начинает звучать в онтологии и гносеологии. Наверное, большего субъективизма русская мысль еще не знала. Это был субъективизм тонко выраженный в совсем не свойственных субъективизму категориях – ведь Григорьев искренно верил в универсальность своих принципов. Поэтому, человек, не сознающий, что философия Григорьева подходит только под него одного – скоро запутывается в суждениях литератора, напрасно пытаясь найти язык, сделавший бы тексты Аполлона Григорьева доступными широкому кругу. Григорьев в этом смысле непереволим.

В самом деле, давайте взглянем попристальнее на те идеи, которые мы только что пытались изложить.

Искусство – связь земного и небесного мира; оно открывает в жизни вечные ценности; оно – мистический порыв избранных; эти избранные несут людям истину художественных образов – и все принимают ее, ведь все души между собой родственны и созвучны, все незримо связаны с Идеалом, все к нему стремятся.

Но здесь–то и заключается вся хитрость. Григорьев называет два признака настоящего искусства – любовь и типичность. Любовь – это симпатия к изображаемому⁴¹³. Типичность – изображение «разнообразных, но общих, присущих общему сознанию, сложившихся цельно и полно...сторон народной личности»⁴¹⁴. Мы уже говорили в предыдущей главе, что на практике любовь к изображаемому в работах Григорьева стала синонимом симпатии писателя к образам, к которым *симпатию чувствовал сам Григорьев*. Отсюда любовь к Островскому, отсюда отторжение повестей из жизни света (Жемчужников, Авдеев, Чернышев), хотя симпатия этих последних к своим героям в них несомненна – и сам Григорьев иногда проговаривается об этом⁴¹⁵. То же произошло и с типичностью, которая свелась к подсознательному принятию или отвержению, к *глубинному «нравится – не нравится»*. «Даже не нужно и убеждаться, – скажет критик, – в том, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется»⁴¹⁶. Мы просим прощения у читателя: сейчас мы процитируем длинный и скучный отрывок, но он заслуживает внимания, поскольку очень характерен для мировосприятия Григорьева. В нем хорошо виден процесс вынесения суждения (обратите внимание на выделенные Григорьевым слова – это то, что близко и узнаваемо для него). Итак, Григорьев начинает рассуждать, что современная литература, хотя и ищет типов народности, но, как правило, не достигает на этом пути успеха. В пример образца истинной типичности он приводит (без перевода) следующий известный отрывок из летописи: «В год 6619. Вложил Бог Владимиру мысль в сердце понудить брата его Святополка пойти на язычников войною. Святополк же поведал дружине своей речь Владимира. Дружина же сказала:

«Не время теперь губить смердов, оторвав их от пашни». И послал Святополк к Владимиру, говоря: «Нам бы следовало съехаться и подумать о том с дружиной» (*да быхом ся сняли и о том подумали быхом с дружиною*). Посланцы же пришли к Владимиру и передали слова Святополка. И пришел Владимир, и собрались на Долобске. И сели думать в одном шатре Святополк со своею дружиною, а Владимир со своею. И после молчания (*и бывишу молчанию*, — черта драгоценная, — комментирует Григорьев, — как и все последующее, в отношении к верности народной великорусской физиономии. Сперва помолчали, как следственно, потом отговариваются говорить первые. Самый прием речи Мономаха чисто великорусский. Точно как их видишь перед собою — так они тут живы!) сказал Владимир: «Брат, ты старше меня (*брате, ты еси старый*), говори первый, как бы нам позаботиться о Русской земле». И сказал Святополк: «Брат, уж ты начни» (*брате, ты почни*). И сказал Владимир: «Как я могу говорить, а против меня станет говорить (*како я хочу молвити, а на мя хотят молвити*) твоя дружина и моя, что он хочет погубить смердов и пашню смердов. Но то мне удивительно, брат, что смердов жалеете и их коней, а не подумаете о том (*а сего не помышляющее*), что вот весной начнет смерд пахать на лошади той, а половчин, приехав, ударит (*и, приехав, Половчин ударит*) смерда стрелой и заберет лошадь ту и жену его, и гумно его подожжет. Об этом—то почему не думаете? И сказала вся дружина: «Впрямь, во истину так оно и есть». И сказал Святополк: «Теперь, брат, я готов с тобою (*се яз, брате, готов есмь с тобою*)». И послали к Давыду Святославичу, веля ему выступать с ними (*велячи ему с собою*). И поднялись со своих мест Владимир и Святополк и попрощались, и пошли на половцев...» Какая страница, — заключает Григорьев, — сравнится с этою безыскусственной, но характеристическую страницей? И что может быть народнее — так сказать, руссее? От чувства до языка, от мысли до движений — здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»⁴¹⁷.

Что пахнет? Где пахнет? Чем пахнет? Какой Русью?

И вот, исходя из принципов любви и типичности, Григорьев определяет назначение литературной критики. Он полагает, что критик «обладает в высшей степени отрицательным сознанием идеала, и он чувствует <в произведении> (*не только знает, но и чувствует, что гораздо важнее**), где что не так, где есть фальшь в отношении к миру души или к жизненному вопросу, где не досоздалось или где испорчено ложью воссоздание живого отношения»⁴¹⁸.

Таким образом, он, веруя в истинность и значимость своего опыта, лишил себя единственного приема, которым можно было бы в России XIX века донести до читателя то, чем хотелось поделиться – *рассуждения*. Как написал Блок: «Здесь так много дыма и чада, что лишь на минуту вырвется пламенный язык... бурые клубы дыма опять занавешивают пламень»⁴¹⁹.

Наверное, уже пора озадачиться вопросом, как соотносятся позиции нашего героя и его старших современников – Хомякова, И.Киреевского и К.Аксакова. В литературе этот вопрос очень туманен: «да, славянофил, но...»; «славянофил – демократ»; «эстет – славянофил» и т.д. Ну, конечно же, Григорьев не славянофил. Консерватор – да. И славянофилы – консерваторы. Вот и все сходство – в изначальной установке искать в настоящем элементы прошлого и опираться на них. Но это очень общо. В остальном – слишком много различий. Вот сейчас мы представили Григорьева как мистика, верующего в свое сердце, стремящегося к Красоте, как Абсолюту, и обретающее связь с ним в искусстве. У славянофилов взгляд совершенно другой.

Для совершенствования человека, писал Киреевский, «необходимо собрать в одну неделимую целостность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия; чтобы он не признавал своей отвлеченной логической способности за единственный орган разума истинности; чтобы голос

* Выделено нами.

восторженного чувства, не согласенный с другими силами духа, он не почитал безошибочным указателем правды; чтобы внушения отдельного эстетического смысла, независимо от других понятий, он не считал путеводителем для разумения высшего мироустройства... даже чтобы господствующую любовь своего сердца, отдельно от других требований духа, он не почитал за непогрешимую руководительницу к постижению высшего блага»⁴²⁰. Вера, как воля к Богу, ведущая по пути православной традиции – вот что мыслилось славянофилами связующим началом внутренней цельности.

Различие взглядов – в различии жизни. По характеру, славянофилы являются, конечно, рационалистами. Мы говорим, естественно, не о всех членах кружка. Но вот о Хомякове, например, Н.Бердяев писал, что тот был «большой диалектик, сильный диалектик и иногда слишком рационалистически критиковал рационализм»⁴²¹. Киреевский тоже характеризуется как человек с аналитическим складом ума⁴²². А мышление лишено порывистых крайностей настроения и эмоциональной исключительности; оно плавнее, легче идет на компромисс – поэтому славянофилы не стараются дискредитировать ни чувство, ни волю ради мысли – напротив, они стремятся преодолеть ее изолированность. Да кроме того, они слишком связаны с кряжевой патриархальностью своих фамилий, чтобы поставить в центре души что-либо иное, кроме православной святоотеческой традиции.

Выражением этого счастливого внутреннего союза для славянофилов является «христианское любомудрие». Это и вера, и наука, и искусство. Однако искусство расценивается как наиболее склонная к *прелести** сфера духа. Аксаков вообще заявлял, что он не художник и быть таковым не желает⁴²³. Киреевский, в свою очередь, увлекшись духовной философией восточных отцов, намеренно оставил литературу и критическую деятельность⁴²⁴. Красота, предоставленная самой себе, полагали они, может

* В обоих смыслах.

стать источником опасных заблуждений⁴²⁵. Вывод славянофильской школы формулировался так: художник должен полностью отбросить свое *я* и «*не* должен становиться как видимое третье между предметом и его выражением, а только как прозрачная среда, через которую образ предмета сам запечатлевается на полотне»; а искусство, не просветленное верой, – лишь тщеславные и субъективные стремления⁴²⁶.

В сущности, и Григорьев, и славянофилы говорили об одном и том же – о невозможности достижения гармонии в человеке и гармонии в межличностных отношениях при доминанте разума. Только славянофилы не доверяли ни внутреннему чувству, ни искусству в их исключительности.

Теперь же поговорим о почвенничестве. Сначала наш герой работал в журнале Кушелева–Безбородко. Боборыкин вспоминает, что «наслышался рассказов о меценатских палатах графа, где скучающий барин собирал литературную «компанию», в которой действовали такие и тогда уже знаменитые «потаторы»*, как Мей и Григорьев... и позволяли себе в графских чертогах всякие виды пьяного безобразия»⁴²⁷. Однако сотрудничество в «Русском слове» было недолгим, с января по август 1859 года. Григорьев оказался слишком негибким. У него было очень трепетное отношение к своим статьям – стремясь проповедовать, он не допускал никаких вмешательств в работу. Поэтому сразу возникли трения с Полонским – вторым редактором, стремящимся как-то поправить тяжелый григорьевский язык. Конфликт обострился, когда, как вспоминает сам Яков Петрович, «я в одной из критических статей его сделал отметку такого места, которого ни я не мог понять, ни те, кому я читал это место. <Кроме того, там было> немалое количество иностранных слов, избегать которых я, в качестве соредактора, обещался в объявлении о выходе в свет нового журнала»⁴²⁸. Тогда Григорьев попытался действовать в обход, проводя без ведома соредактора статьи, которые казались ему близкими по духу, и которые Полонский за

* Пьяницы.

их «отсталость» печатать не хотел. Здесь уже вышел скандал: «Ваша редакторская деятельность, – пишет Григорьеву один либерально настроенный молодой человек, – известна как нечестная. Здесь считаю долгом сделать оговорку, что о ней я слышал из ста уст, только не от Полонского,...а не–то злоба заставит Вас сделать подобное предположение...Я бы почел долгом обличить Вас как льстеца и как редактора, помещающего некоторые статьи из кумовства и собутыльничества...Многие знают, как Вы работаете в минуту отъезда графа»⁴²⁹. Кончилось тем, что Полонский из «Русского слова» ушел. Но долг платежом красен. Место Полонского, по рекомендации Григорьева, занял А. Хмельницкий, сокурсник последнего. Но не прошло и месяца, как новый редактор начал интриговать, представляя перед графом статьи своего покровителя исполненными обскурантизма. При желании это было столь нетрудно, что Кушелев быстро согласился с интриганом, и в конце августа 1859 года Аполлон Григорьев покинул редакцию журнала. Вдобавок, Хмельницкий вооружил против него всех кредиторов. Начались запои – дней на десять – с прыгающими чертиками и расплывающимися в углу харями...⁴³⁰

«О строгие судьи безобразий человеческих! Вы строги – потому что у вас есть определенное будущее, вы не знаете страшной внутренней жизни русского пролетария, т.е. русского развитого человека, этой постоянной жизни накануне нищенства,...накануне долгового отделения,...этой жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений»⁴³¹.

Не раз заставляла его Серова, жена композитора, друга Григорьева, валяющимся на диване в ее гостиной «уткнувшимся в подушку и издающим невозможнейшие звуки со свистом и шипением»; не раз видел его Боборыкин спящим в купеческом клубе на бильярде⁴³².

И было еще одно обстоятельство. Как–то в начале 1859 года сводник, хозяин номеров, где жил Григорьев, привел ему на утеху некую Ма-

рию Федоровну Дубровскую, дочь спившегося провинциального учителя, как она сама говорила. И вспыхнул между ними болезненно–призрачный блуждающий огонек любви от безысходности.

Старо все это на земли, —
будет позже вспоминать Аполлон Александрович, —

Но помнишь ты, как привели
Тебя ко мне?...Такой тоскою
Была полна ты, и к тебе,
Несчастной, купленной рабе,
Столь тяготившейся судьбою,
Больную жалость сразу я
Почуял — и душа твоя
Ту жалость сразу оценила:
И страстью первой за нее,
За жалость ту, дитя мое,
Меня ты крепко полюбила⁴³³.

И стали они маяться вдвоем... Пока были деньги — все еще как-то, а как кончились гонорары от Кушелева — так совсем плохо стало. В дешевой квартире на Невском было холодно и голодно. Марья Федоровна лежала больная после ранних родов; у нее не было молока, а кормилицу не на что было нанять. Ребенок болел и вскоре умер. Григорьев был убит. При этом он был лишен даже моральной поддержки близких — все осудили его за гражданский брак при живой супруге. Вот как рассказывает он о встрече с Эдельсоном:

... заезжал
Друг старый... Словом донимал
Меня он спяну очень строгим;
О долге жизни говорил,
Да связь беспутную бранил,
Коря меня житьем убогим,
Позором общим — словом, многим...⁴³⁴

«Чем сильнее любишь человека, – говорит ему Григорьев после визита, – тем чувствительнее от него оскорбление, это ты сам как психолог должен хорошо знать. Придти по праву дружбы колотить обухом по больному месту – дойти хоть и пьяному до того, чтобы как пьяный кучер обратиться как к бляди к женщине, которая (по крайней мере тебе) не подала на такое *предложение* ни малейшего повода; и все это из-за кого? Из-за подлой и настоящей бляди, прикрытой названием моей законной супруги»⁴³⁵. Лучший друг, рядом с которым, в шатании из кабака в кабак, смутно чувствовалось, что гармония души возможна, что счастье – вот оно, через мгновение заключит в свои объятия; и что во всей этой бесшабашной карусели таится некий высший смысл, – был потерян.

«Да, – пишет он Погодину, – я держу любовницу. В переводе на человеческий язык это значит вот что: я несчастливо женат, я отец чужих детей, таскаемых по кабакам матерью их, – встретился с женщиной, которая готова со мной в огонь и в воду, которую я честно полюбил за ее же честную любовь»⁴³⁶. Он почти сквозь слезы сетует учителю: «Жить с таким чудовищем, как моя жена, невозможно даже, я полагаю, и святому – да не только Вы это знали, а вероятно и те будочники, которые таскали ее пьяную из банек...<но> я встретил в ближайших мне людях или слабость и двоедушие, как в отце, или прямые воззвания к *нравственности* со стороны Эдельсона...или, наконец, со стороны Вашей старчески-наставительный тон»⁴³⁷.

1860 год Григорьев прошатался по знакомым: он был уже плох – неряшлив и постоянно пьян⁴³⁸. В декабре судьба занесла его к директору Публичной библиотеки В.Ф. Одоевскому. Судя по дневниковым записям последнего, между ними состоялся разговор. Разговор пьющего с добрым. «Приходил ко мне литератор, – записал Владимир Федорович, – Аполлон Александрович Григорьев, но в такой бедности, что жалко смотреть... Я говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек даровитый, дошел до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости, и сказав ему, как со-

брату по литературе, что на нем лежит тяжкая ответственность как перед собою, так и перед людьми. Он принял мою откровенность хорошо; рассказал, что из «Русского слова» он был вытеснен Хмельницким, что он, случилось, пил по девять дней сряду с горя, и на десятый говорил – не буду пить, и не пил...что по его направлению он ни в какой журнал идти со своими статьями не может, ибо он хотя и человек либеральный, но консерватор...Григорьев горько жаловался мне, что о нем дурно отзывались в «Санкт–Петербургских ведомостях». Я постарался его утешить, рассказав, что про меня писал князь Петр Долгорукий»⁴³⁹. У Одоевского до января оставалось тридцать рублей – половину он с участием предложил нашему герою.

28 декабря к нему зашел Михаил Достоевский, поговорить о предполагаемом в следующем году издании журнала «Время». Братья Достоевские уже знали Григорьева по кружку, собиравшемуся у А. Милюкова – редактора журнала «Светоч», и разговор постепенно перешел на его судьбу. «Толковали мы, – пишет Одоевский, – как помочь Григорьеву. <Один знакомый> мне сказывал сегодня, что тому два месяца, как ему из Общества литераторов выдали пятьсот рублей. Кн. Черкасский и Самарин мне сказывали, что он пьет жестоко, в чем сам Григорьев мне признавался, ссылаясь на свое горе. Да хоть бы и пил, да человека–то даровитого жаль, ведь у нас людьми не мосты мостить»⁴⁴⁰. Порешили Аполлона пригласить во «Время».

Направление журнала «Время» (1861 – 1863) и потом сменившего его журнала «Эпоха» (1864 – 1865) принято называть «почвенничеством». Собственно, это направление связано даже не с журналами, а с фигурами Ф.Достоевского, Григорьева и Страхова. Мы не ставим себе целью анализировать направление в целом – это делалось и до нас;⁴⁴¹ но мы постараемся взглянуть на почвенников, взяв точкой отсчета нашего героя.

Дух почвенничества вполне традиционен: консерватизм, идеализм, критика прагматического рационализма, вера в самобытную народность и

всемогущее искусство. Однако Достоевский сознательно и упорно проводил мысль о *новости* своего течения. Новость по отношению к англофильскому консерватизму Каткова очевидна. О новости в отношении к славянофильству мы скажем подробнее. Два пункта лежали в основе желания почвенников быть самостоятельными. Первое – разный социальный опыт. «Славянофильство, – говорит Достоевский, – до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в сущности, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем – из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры, и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же «Марфы Посадницы», прочитанной когда-то в детстве, и, наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, – над немцами непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми»⁴⁴². О григорьевской любви к городской дворне мы уже говорили, а с каторжным опытом Достоевского – все и так ясно. Второй пункт – этическая позиция: неприятие славянофильского аристократизма. «Мы рады товариществу, – обращаются они к И. Аксакову, – но ведь товарищем вы не будете. Вы все-таки будете учить нас нестерпимо свысока... учить, непрерывно учить, смеяться над нашими ошибками; не признавать наших мук и страданий, осуждать их со всею жестокостью иступленного идеализма... Это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего, – характеризуют они аксаковскую манеру, – презрительный взгляд, скользящий сверху и не достаивающий ни над чем серьезно остановиться»⁴⁴³.

Такая позиция была, несомненно, близка Григорьеву, но при этом отношения сотрудников «Времени» были далеко не такими, как в кружке «Москвитянина».

Со Страховым Аполлон познакомился в конце 1859 года, когда кратковременно писал для «Русского мира». Страхову шел тридцать первый год, но в литературе он был человек новый. «Я начал, – писал он в воспоминаниях, – литературное поприще маленькими статьями, напечатанными в течение года под заглавием «Физиологические письма» (он был естественником. – П.К.). После появления первой же из этих статей, издатель газеты вдруг как-то объявляет мне, что статья моя заслужила большое одобрение от Григорьева, и что Григорьев непременно желает со мною познакомиться... Кроме него никто этих физиологических писем не заметил... Григорьев стоял в наших глазах чрезвычайно высоко. Таким образом, похвала, заслуженная моею статьею от Григорьева, была для меня самым лестным успехом, которого я мог пожелать, и обрадовала меня невыразимо... <Однако>, – продолжает он, – отношения между мною и Григорьевым были чисто литературные; нас связывал только один этот интерес. Григорьев видел во мне своего ревностного почитателя; я смотрел на него, как на великого единственного мастера в деле критики»⁴⁴⁴. Отношения, действительно, были неравные и неглубокие. По письмам к Страхову видно, что Григорьев, если и не лукавит, то рисуется. Вот образец его новой манеры: «Увы! – пишет он ему, – как какой-то страшный призрак, мысль о суете суетствий, мысль безотрадной книги Экклезиаста, возникает все явственней и резче и неумолимей перед душою. Боже мой! – продолжается драматический монолог *a la* Мочалов, – неужели же и ты дойдешь до этого? Сумасшедший ты человек! Жалуешься на то, что не жил? А имеешь ли ты конкретное понятие о тех мрачных Эринниях, которых жизнь насылает на своих конкретных любителей?... О, да хранит тебя Бог от жизни...»⁴⁴⁵. Григорьев даже развязен в этих письмах: матерная брань здесь в порядке нормы. И поэтому понятным представляется то, что когда Григорьев попытался более глубоко раскрыться – Страхов ничего не понял⁴⁴⁶. «Ну что он написал об Аполлоне Григорьеве, – скажет Островский, когда выйдут страховские воспоминания, – ни малейшего понимания, чутья это-

го человека»⁴⁴⁷. Николай Страхов слишком был пристрастен к точности, связности, упорядоченной цельности⁴⁴⁸, чтобы быть созвучным григорьевской натуре. Он все-таки рационалист, правда, рационалист слабый, несамостоятельный. Ему было тяжело примирять григорьевский иррационализм со своей природой, но, в то же время он был слаб для того, чтобы выработать из себя самостоятельную систему взглядов. Поэтому первое время он не столько писал, сколько переводил работы по логике и системе мышления, ища путей примирения внутреннему конфликту. В конце концов он окончил эклектикой. Мысль для него имеет свои неотъемлемые права; и «как бы ни была велика сумятица мнений, как бы ни были сильны порывы увлечений, никто не решится идти против мысли до конца»⁴⁴⁹. Соответственно, идея Григорьева о противостоянии жизни и теории как иррационального и рационального начал приобретает у Страхова иное содержание. «Что же такое *теория*? – рассуждает он. – Что такое *отвлеченная мысль*? Теория противопоставляется жизни, отвлеченная мысль – мысли конкретной... Мысли могут быть различны, так сказать, по направлению своего движения: одна может идти к предмету, другая *от* предмета. Мысль отвлеченная есть именно та, которая идет от предмета, которая удаляется от него, разрывает с ним связь и доверяется себе самой. Это будет мысль, лишенная живой опоры и потому блудная и сухая, движущаяся одною голою логическою связью. Отвлечение состоит в том, что оно образует *общую формулу* и верит в нее как в действительность. Поэтому оно приписывает полное равенство всем предметам, подходящим под эту формулу. Поэтому отвлеченная мысль есть всегда мысль равняющая, сглаживающая различия и обесцвечивающая явления... Творчество, как и жизнь, неисчерпаемы и могут дать *нескончаемый ряд теорем**. Принимать неполную мысль за полную действительность – вот корень всех заблуждений человека»⁴⁵⁰.

* Выделено нами.

Теперь, что касается Достоевского. Федор Михайлович и Аполлон Александрович, как натуры глубокие, развитые и сформированные, каждый своим путем пришли к взглядам, оказавшимся родственными. И коль скоро каждый из них был совершенно самодостаточен, а выражать себя приходилось на соседних страницах – то к позициям своим они были крайне ревностны, а друг к другу насторожены. Говорят даже, что они разделили редакцию на два лагеря⁴⁵¹. Достоевский никак не мог примириться с исключительностью григорьевских мнений. Он резонно говорил, что своими крайностями Григорьев лишает их права на мысль, и эта крайность есть сама уже теория⁴⁵². «В нем решительно не было того такта, – замечал он, – этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому предводителю идей... «Я критик, а не публицист», – говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика – не только иметь твердые убеждения, но и *уметь* проводить свои убеждения. А эта–то умелость проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове публицист с предубеждением... не хотел даже понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнительности, может быть думал, что от него добиваются отступничества»⁴⁵³. Очень показателен следующий эпизод. Когда Михаил Достоевский позволил себе скептические комментарии по поводу восторженных отзывов Аполлона в адрес консервативных философов, обиженный Григорьев так представил дело Страхову: «Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте, чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить – хоть бы даже с Герценом, в чем он не прав. Цинизм мысли, право, дошел уже до крайних пределов. Слова человека очень честного и хорошего, каков

М.Достоевский: «*Какие же глубокие мыслители Киреевский, Хомяков и о. Федор*?*» – для человека действительно мыслящего – термометр довольно ужасающий»⁴⁵⁴. На самом деле Михаилу Михайловичу не понравилось не признание заслуг вышеупомянутых литераторов, – «то было худо, что часто <Григорьев> неумело упоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону; про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателя, но знакомство это делать осторожно, умеючи, постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого–то какой–нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: «великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Федор» – с презрением закрывал журнал, не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним»⁴⁵⁵. Таким образом, позиция Григорьева с трудом подходила тактике «Времени». Редакция серьезно заботилась о разнообразии, приятном впечатлении, которые должны были производить материалы книжек на публику. Избегали сухого или тяжелого, чем объясняется публикация таких статей, как «Бегство Казановы из Венецианских Пломб»; стремились к легкости стиля, сближая форму текста с непринужденным разговором. ««Время» не хотело никому уступить в легкости чтения и интересе»⁴⁵⁶.

Таким образом, Григорьев упрекал Достоевского в прагматичности⁴⁵⁷, а Достоевский Григорьева в капризах⁴⁵⁸.

Но, как бы там ни было, почвенники старались, как могли, выступать согласно и проводить единую линию. Первоначально предполагалось, что Достоевский будет заниматься публицистикой, Страхов – науками, а Григорьев литературой. Однако, как видно теперь, в главной теме того времени – в вопросе о пути России – тон, как опытный и развитый литератор,

* Бухарев.

задавал именно Григорьев. Начал он с критики просветительно-гегельянской историософской традиции. Суть ее, в двух словах, заключалась в следующем. Природа людей одинакова: все имеют разум и тело и, при определенных условиях, всякий может достичь жизненных вершин. А, поскольку природа и возможности людей едины, соответственно, нет принципиальных различий (кроме разве что климатических) между народами, которые образуют собою механистическую целостность – человечество. Человечество это постепенно и линейно прогрессирует. И поскольку, как мы только что сказали, прогресс идет линейно, то, значит, каждая новая ступень развития всегда выше, лучше, совершеннее любой предыдущей, уже утратившей свое значение. Развитие бесконечно, и, так как оно бесконечно, а народы конечны, то, следовательно, должна быть какая-нибудь сущность, которой весь этот прогресс был бы необходим. Такая сущность – это Разум, Мировой Дух – вечный принцип, который развивается через развитие поколений. То есть, получается, что народы уже как бы себе и не принадлежат: необходимо прогрессируя в силу природных законов, они действуют поневоле, обеспечивая самореализацию Разума, стоящего над ними.

Григорьев противопоставляет этой системе взгляды, сформулированные немецким романтизмом. Он провозглашает «высшее значение формулы Шеллинга», и значение это «заключается в том, что всему: и народам, и лицам возвращается их *цельное, самоответственное* значение, что разбит кумир, которому приносились требы идольские, кумир отвлеченного духа человечества и его развития. Развиваются народные организмы, и каждый такой организм вносит свой органический принцип в мировую жизнь. Естественно, что несколько таких *однородных* организмов, имея сходство в однородности принципов, образуют циклы древнего, среднего и нового мира. Каждый таковой организм сам по себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочие жить по законам, ему свойственным, а не обязан служить переходною формою для другого»⁴⁵⁹. Таким образом,

взгляд Григорьева основывается на признании существования самобытных народных единиц, которые не могут быть искусственно объединены в «безликом человечестве». Каждый этап в жизни народа самоценен и основывается на изначально заложенных в народном характере особенностях – так что народ не является орудием реализации трансцендентной ему сущности. Наконец, литератор, предполагает, что народные начала сохраняются на протяжении всей его истории, обеспечивая органичность развития. Таким образом, Григорьев говорил о том, что социологами скучно называется «релятивизмом» и «имманентизмом». Две силы направляли его этим путем: ставшее «кровью и плотью» восприятие России как особого мира и эстетическое неприятие единообразия. Для него взгляд на историю как на жизнь народностей, типов, семей, идет от общего принципа мировосприятия – интереса к разнообразию индивидуального, стремления к «цветной истине», в противоположность неопределенности общего⁴⁶⁰. И взгляд этот он именует «идеально–артистическим»⁴⁶¹.

Все эти рассуждения очень близки славянофильской риторике. Однако если рассмотреть внутреннюю логику старших современников Григорьева, окажется, что они иногда ближе к Гегелю, чем к его оппонентам. Для славянофилов основой мировосприятия все–таки является вера. Как говорил Хомяков: « Вера есть высшая точка помыслов человека, тайное условие его желаний и действий, в ней окончательный вывод всей полноты его существования»⁴⁶². Но религиозное пламенение бескомпромиссно, и этим славянофилы обрекали себя на дуалистичность: православие и неправославие. Киреевский может долго говорить о различных качествах, присущих различным народам, но рассуждения свои он закончит сведением всех этих начал к свободе и необходимости⁴⁶³. А Хомяков в «Семирамиде» от этого уже отталкивается, как от основополагающего принципа. Для него существуют два мировых религиозных начала: *кушитство* и *иранство*. Кушитство – это необходимость, пантеизм, материализм, пластические искусства, внешние формы, рационализм. Иранство – это свобода, моноте-

изм, приоритет слова, духа, любви к традиции, интеллектуальный синтез⁴⁶⁴. История – арена борьбы этих начал. Вот и получается, что народные качества, сколь оригинальными они бы не были, всегда растворяются в одном из мировых принципов. Уже не народ, а религиозные начала являются истинными субъектами истории, и исторический процесс представляется линейным – согласно Священной истории. Кроме того, поскольку принципы народной жизни получают столь ярко выраженный религиозный характер, а христианство – это всегда свобода выбора – значит народы могут изменять свои качества по собственной воле или под влиянием обстоятельств. Так, например, Киреевский выделяет три главных начала Западной цивилизации: христианство, молодые варварские народы и наследие античности. Решающим фактором в развитии средневековой Европы им признается именно последний компонент, который заразил католичество рационализмом. Вот и выходит *само собой*, что различие России и Запада коренится в античной древности...⁴⁶⁵

Итак, славянофилы не абсолютизировали ни самостоятельность народа, ни неизменность его изначальной сущности: для них органичность всегда находится под угрозой.

У Григорьева, как всегда, все доведено до исключительности. Для него каждый народ наделен только ему присущими свойствами, которые ни к какому обобщению не сводятся. Эти свойства не могут быть изменены, хотя на время могут быть забыты или заслонены, – поэтому органичность истории для него факт *само собою* разумеющийся⁴⁶⁶.

Этих идей было бы Григорьеву вполне достаточно, если бы философская традиция эпохи не требовала вывода их на онтологический уровень. И здесь тоже надо было как-то избегать и подчинения внешней воле, и обезличивания. Наш герой достаточно легко (потому что эта тема была для него формальна, и поэтому же нельзя сказать, что совершенно непротиворечиво) разрешил эту задачу. Он создал из многих систем такую картину: источник бытия – Идеал, Абсолют, Красота. Этот Абсолют жизнен-

ными импульсами связан с каждым человеком и с каждым народом. В его импульсах жизненная сила – и каждый народ своей жизнью претворяет эту силу в соответствии с данным ему характером. То есть, если иметь в виду, что Идеал – синоним Красоты, то можно более определенно сказать, что каждый народ творит свою красоту. Идеал реализуется через жизнь народов, но и народы реализуются *по своей воле* с помощью идеальной энергии. Все свободны, самодостаточны и органичны – и в то же время тесно связаны⁴⁶⁷.

Григорьев не отрицал, что народы не вечны. Их жизнь циклична и проходит детство, зрелость и старость. В старости, ближе к уходу в небытие, рвется нить, связывающая народ с Идеалом. Искусство его распадается, уходит в крайности, в бесполезные метания; мировосприятие теряет цельность, а вместе с ней и веру – народ растворяется.

Итак, исключительная уникальность народа и представление о его абсолютной органичности, исток которого вы, наверное, уже увидели в опыте возвращения нашего героя к народности, как «жизни по душе», к тому, что представлялось ему изначальным – вот линия размежевания старых и молодых консерваторов.

Но все-таки Запад Григорьев не узнал, не определил его характер. Как были для него с «москвитянской» поры немцы скучно добропорядочны, французы легкомысленны, а англичане чванливы – так они и остались⁴⁶⁸. Да, он будет писать: «Помните ли вы замечательную вещь: Мадонну Альбрехта Дюрера? Вот я бы тех господ, которые говорят, что в искусстве нет *народности*, привел перед нее, да и поставил – указал бы на ее чисто *германскую* девственность и на Христа младенца с огромно развитым лбом, будущего Шеллинга или Гегеля. Кстати, тоже подвел бы их с *Santa Famiglia* Рубенса, где Мадонна есть идеальная квинтэссенция той голландки, которая некогда продавала вафли в Москве»⁴⁶⁹. Но ведь это мало того, что размыто, но еще и о прошлом, а настоящее-то так и не коснулось его. Здесь, скажет он об Италии «мизерия, мелочность, старые фразы

и жесты без старого смысла; в жизни пошлость, отсутствие широты и поэзии – невежество скотское»⁴⁷⁰. «На Западе, – пишет он Эдельсону, стремясь показать однообразную бездуховность увиденной им жизни, – что ни человек, то и специалист – оттого–то здесь люди и представляются мне все маленькими, маленькими муравьями, ползающими с мелочною работою по великим, громадным памятникам прошедшей жизни. От этого–то зрелища я и хандрю ядовито, ибо обаяние камней *одно не питает душу**»⁴⁷¹. И в этом–то питании души и заключается объяснение грустных переживаний Григорьева. Ведь бывает, что человек привыкает жить в маленьком круге людей, себе созвучных, и окружение это, всегда очень немногочисленное, становится необходимым условием положительных переживаний. Многое меркнет без этого. И нашему герою в Европе родственной души–то и не хватало. Поэтому – что он любил (а любил он старину) – то и полюбил, а чего не знал – того и не принял. Да кроме того, он, конечно, против Запада был предубежден. А как еще объяснить такое противопоставление Европы и России, в которой еще «слава Богу подают милостыню – и, еще более слава Богу! подают ее без критического разбора нравственных свойств просящего *Христа* ради и оценки его личности»?⁴⁷² Слишком лапидарно. Или вот такие размышления из письма к А.Майкову: «В деревушке A Ponte Mariano, близ которой была вилла, где я прожил два месяца, меня поражало, во–первых, что там стоял на распутье прекрасный образ Мадонны, и, во–вторых, что подле этого образа живут язычники, самые грубые и невежественные: а в каком–нибудь захолустье нашем, в ветхой деревянной церкви существует безобразная в художественном отношении иконопись, но там живут христиане, которые знают различие между образом и Богом»⁴⁷³. И это говорит человек, влюбленный в Мадонну Мурильо и молящийся Венере Милосской...

* Выделено нами.

Итак, Аполлон Григорьев чувствовал себя в Европе отчужденно – и следствием этого явился следующий взгляд. Запад истощился. Некогда высокая цивилизация, давшая великое искусство и науку, отмирает. Современная Европа – старуха. Для нее Идеал померк, и Красота не питает ее. Покинутая, она старается обрести смысл в идее, что человечество существует само для себя. Но путь этот – «падение или, лучше, уничтожение искусства, науки, вообще *стремления*, практичность, человечество в покое, следовательно – человечество на четвереньках»⁴⁷⁴. И вся эта вера в материальный прогресс, в царство разума, в либеральную этику здорового эгоизма – все это симптомы разложения. В этом смысле для него существуют только два знамени: «на одном написано: «Личность, стремление, свобода, искусства, бесконечность»; на другом: «Человечество... материальное благосостояние, единообразие, централизация»⁴⁷⁵. И в последнем случае ничего не остается, как только «повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество» по выкладкам Фурье⁴⁷⁶. Все на Западе обращает «человека в свинью, то есть рылом вниз – авось, дескать, так-то ему будет покойнее»⁴⁷⁷. Все замечательное, что еще время от времени появляется среди этой пены – лишь судороги⁴⁷⁸.

В статье «Пути русского консерватизма 1840-х – 1850-х годов»⁴⁷⁹ мы старались обосновать тезис, что для Григорьева западный дух полностью рационален, а особенность русского начала – в способности реализовывать в культуре божественные эманации как с помощью разума, так и с помощью чувства⁴⁸⁰. Теперь же нам очевидна его ошибочность: результат недостаточного внимания к источникам. Григорьев не знал сущности европейского начала: он видел руины, на которых молодые побеги* – всего лишь признак заброшенности. В то же время, считать что Григорьев представлял сущность русского народа в виде синтеза разума и чувства, можно

* Имеются в виду новые социальные течения.

разве что с большой натяжкой. Критик вообще мало оперирует этими категориями. Мы уже говорили, что он, как эстет, как шеллингианец, как мистик, воспринимал явление только в многообразии индивидуального. «Всякая *жизнь* (в том числе и жизнь народного организма. — П.К.) имеет двойственный лик Януса (потому-то она и жизнь)»⁴⁸¹. Но поскольку Запад он не прочувствовал — тот ему представился миром «строгой, однообразной чинности, кладущей на все уровень внешнего порядка и составной цельности»⁴⁸². Он «*определен*»⁴⁸³ и однозначен — следовательно, мертв. Соответственно, только Восток носит в себе живую душу — и свидетельство этому его минимум *двойственность*. И этого общего ему, при его отношению к Западу, вполне достаточно. Действительно, о чем говорить, когда там — смерть, а здесь — жизнь. «Двойственность эта, — говорил он, — всюду у нас проглядывает в старом и новом (князя дружинники-охранники (Мономах. — П.К.) и князя промышленники-вотчинники (Калита. — П.К.); святость Ильи Муромца и ерничество Алеши Поповича; земледельческое население и купеческое; покорность семейному началу в одной песне и загул в отношении к этому началу в другой и проч., и проч., и проч.»⁴⁸⁴. Это не присутствие набора положительных и отрицательных качеств, а сосуществование силы центробежной и центростремительной — *страстности и здравого смысла*⁴⁸⁵, начал по природе своей нейтральных, только направленных в разные стороны, поэтому в разное время одно и то же качество может проявляться с разными векторами.

Так трансформировалась его изначальная посылка: полифоничность, как свойство любого живого народного организма, превращается в «коренные начала» только русского народа; *неоднозначность* — в стержень русской природы.

И вот он начинает писать народность. Страстность в нас — это стремление к смыслу, к вечному, к идеальному — высокие порывы души. И поэтому при Петре настало время, когда природа наша должна была соприкоснуться «с иною, доселе чуждою ей жизнью, с иными крепко и притом

роскошно и полно сложившимися идеалами»; чтобы «она узнала само себя, узнало, что не только бедную и обиденную обстановку может воспринять и усвоить, но и всякую другую, как бы ни была эта другая сложна, широка и великолепна», – заключает он, имея в виду европейское величие *былых* времен⁴⁸⁶. Мы должны были проявить силы сочувствия и силы понимания, чтобы понять, как скажет Достоевский, что у нас есть «способность высоко синтетическая, способность всепримиримости и всечеловечности»⁴⁸⁷. «Цивилизация, – продолжает он, – только привносит новый элемент в нашу народную жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с нормальной дороги, а, напротив, расширив ее кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов»⁴⁸⁸.

Но страстность – она ведь склонна к крайностям, она ведь часто и ложным очаровывается. И Григорьев как никто это знает, потому что в свое время настрадался от этого. Ведь Запад все-таки отцветает – и многие принимают жухлые листья за бутоны. На рационализме, оторванности от почвы Григорьев сам обжегся сильно – но время залечило раны и примирило с собой. Что же касается светской этики – это навсегда останется больным местом, всегда будет колоть и раздражать. Откуда у нас жестокая гордость, безбожие, эгоизм, злобная ирония, бесстыдство отношений к женщинам?⁴⁸⁹ У нас, у самого мягкого из народов?⁴⁹⁰ От Байрона, от романтиков-богоборцев. Байрон гений: его дух завораживает, манит, затягивает. Но его талант безыдеален, не проникнут высшим светом – чего уже нет в жизни, того он и дать не может. Он гениально пишет с натуры, но остается на одном с ней уровне, своим творчеством он показывает только неправду окружавшей его жизни. И Лермонтов, а с ним и многие, обманулись, очарованные англичанином; но они были искренни в заблуждении – и за это им многое простится. Беда в тех, которые слепо подражали и подражают «хищным, сложнострастным и напряженно развитым героям»⁴⁹¹.

Таким образом, рационализм, идеализм (как оторванность от корней и болезненное неприятие действительности) и романтический демонизм – вот крайние грани нашей страстности.

Но стихии эти не могут окончательно захлестнуть нас – наша природа имеет противовес, критическую сторону. Сейчас это «простой здравый толк и здоровое чувство, кроткое и смиренное, толк, вопиющий против всякой блестящей фальши, чувство, восстающее законно на злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать»⁴⁹². Значение его «в протесте всего смиренного, загнанного, но, между тем, основанного на почве, в нашей природе – против гордых и страстных до необузданности начал»⁴⁹³.

И тут Григорьев, вопреки нашим ожиданиям классической консервативной развязки, делает *pas* и выводит проблему в иную плоскость. «Положим, – пишет он, – или даже не положим, а скажем утвердительно, что нехорошо сочувствовать Печорину, такому, каким он является в романе Лермонтова, но из этого вовсе не следует, чтобы мы должны были «ротиться и кляться» в том, что мы никогда не сочувствовали натуре Печорина до той минуты, в которую является он в романе, то есть стихиям природы еще до извращения их... Из этого еще менее следует, чтобы мы все сочувствие наше перенесли на Максима Максимыча и его возвели в герои. Максим Максимыч, конечно, очень хороший человек и, конечно, правее и достойнее сочувствия в своих действиях, чем Печорин – но ведь он тупоумен и по простой натуре своей даже и не мог впасть в те уродливые крайности, в которые попал Печорин. Голос за простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного есть, конечно, прекрасный, возвышенный голос, но заслуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закись, моральное мещанство»⁴⁹⁴.

Вот так...

Ведь кто теперь Григорьев? – человек, прошедший сомнение и отчаяние, но человек примиренный с собой. Жизненный опыт его – не вы-

тесняющие друг друга пласты, а выстраданное единство. Он человек европейской культуры, человек стремящийся (и, наверное, в первую очередь *стремящийся*), ищущий смысл, но в свое время ставший жертвой этих стремлений, излечивший себя обращением к патриархальности и вернувшийся в круг интеллектуальной жизни интеллигентом–консерватором. И он уже не может жить ни без того, ни без другого, но в нем нет и восторженной очарованности: он везде видит обратную сторону, хотя природная порывистость всегда тянет его к крайностям. И вот эта широта, богатство и активность натуры и приводят его к позиции, которую он выразит, сказав: «Мы любим смышленость, здоровый ум, известный юмор, соединенные с добротой. Мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грязи, дряни, мошенничества – нежели уважаем тупоумие за одну доброту»⁴⁹⁵. Смирное для него – это «все здраво–непосредственное»⁴⁹⁶, но это и скучно–однозначная положительность родительского дома и университетских лет. Здесь ведь что еще нужно иметь в виду: у Григорьева происходит смещение акцентов. Сейчас для него непосредственность, «жизнь по душе» – уже вшедшее в плоть и кровь. Главным снова становится вопрос выражения себя, служения идеалам – поэтому мы и видим такой упор на активное начало. Поэтому он и скажет: «Увы! на одних добрых и смирных людях, умей они даже умирать так, как умирает солдат Веленчук у Толстого, будь они благодущны до пантеистической любви ко всей твари, как старик Агафон у Островского, – далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна»⁴⁹⁷. И поэтому он будет писать: «Кто говорит, что Печорин, «чувствуя в себе силы необъятные», занимался специально «высасыванием аромата свежей благоухающей души», что Арбенин сделался картежником потому только, что

Чинов я не хотел, а славы не добился,

что Веретьев тургеневского «Затишья» с его даровитостью пьянствовал, шатался и безобразничал... кто говорит, что они правы? – но не на них же одних возложить всю вину безумной растраты сил даром, на мелочи или

даже на зло...⁴⁹⁸ Все они общественные отщепенцы, которые от совершенно законных точек отправления, от искания простора своей силе пошли в беззаконие или в ложь. Едва ли даже не приходится сознаться, что все «необъятные» силы нашего духа покамест выражались в этом типе... в него вошли наши лучшие соки, наши положительные качества, наши высшие стихии: и в артистически–тонкую, мирскую жажду наслаждения пушкинского Жуана, и в критическую последовательность печоринского цинизма, и в холодное, северное самообладание при бешеной южной страстности Василия Лучинова, и в «прожигание жизни» Веретьева... Только стихии эти находятся в состоянии необузданном. Их «туманом кружит», говоря языком Островского, и происходит это от того, что, как замечает Бородин, «основательности нет» к жизни, то есть в жизни у них не было и нет... основ, держась за которые крепко как за центр, они сияли бы как наши блестящие типовые достоинства»⁴⁹⁹.

Выход, конечно, только в обращении человека «развитого»⁵⁰⁰, «идеалиста и философа»⁵⁰¹ к «простому, типовому и непосредственному, к действительности»⁵⁰².

Вот именно поэтому для Григорьева – *«Пушкин – наше все»*. «Пушкин все наше переживал: от нашей любви к загнанной старине до сочувствий к реформе, от наших страшных увлечений блестящими эгоистически–обаятельными идеалами до смиренного служения Савелия («Капитанская дочка»), от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды «матери пустыни»⁵⁰³... Он начал, не скажу с подражания, но с поклонения Байрону, с протеста против действительности, и он же кончил «Повестями Белкина», «Капитанской дочкой» и проч. – стало быть, смирением перед действительностью, его окружавшей... Даже еще прежде «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки» он, великий протестант, давший «уголовных преступников» (по толкованию «Маяка» и «Домашней беседы») в виде «Пленника», «Алеко», «Мазепы», грозил нам примирением с действительностью, какова она есть:

Теперь милей мне балалайка
 Перед порогом кабака,
 Да пьяный топот трепака...
 Мой идеал теперь хозяйка,
 Да шей горшок...

Но, – и в этом главная сила, – Пушкин, в то же самое время писал «Каменного гостя», «Дубровского» и множество лирических произведений, на которых как нельзя более очевидно присутствие протеста... Пушкин был весь – стихия нашей духовной жизни, отражение нашего нравственного процесса, выразитель его, столь же таинственный, как сама наша жизнь⁵⁰⁴... Пушкин – представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остается нашим *душевым, особенным* поле всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками»⁵⁰⁵.

Вот такой автопортрет в интерьере народности.

Люди! Ищите и творите, выражайте себя. Ваше богатство – это ваша личность, и не бойтесь обращаться к Западу – там много нам созвучного, но будьте просты и искренни, любите друг друга и слушайте голос своего сердца.

Вот и вся правда Григорьева. Ради нее были все эти мучения, весь этот путь. Много надо было выстрадать, чтобы уяснить ее себе. Одно предложение – суть всей жизни, одна строчка – смысл сотен написанных страниц. Золотой песок судьбы – пережитый опыт.

И он, конечно, изо всех сил старается передать то, в чем уверен, то, что для него главное. Ему кажется, что народ един, что органичность нашего развития не нарушена, что если он сам смог вернуться к родной почве, то и все смогут, что если почва приняла его, то и всех примет. Надо сказать, что здесь Григорьев глубже славянофилов. Он резонно замечает, что славянофильство «своего *идеального* народа отыскивало только в допетровском быту и в степях, которых не коснулась еще до сих пор реформа. Купеческого сословия, то есть той среды, в которой народное развивлось вполне самостоятельно в хорошем и дурном, в типическом и уродливом, в жизненной, хотя изолированной, полноте и в жизненном же безобразии, оно не признавало как существенного явления, оно знало только старое боярство и степное крестьянство, стремясь отождествить в началах эти два явления в сущности разнородные, одно – отжившее, другое – совсем не жившее... Строилась целая теория тупой покорности как идеального начала быта народного»⁵⁰⁶. Но еще глубже был Достоевский. «Мы, – говорит он, – в высочайшей степени уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как *широка* и *глубока* сделалась яма этого разделения нашего с народом; и не понимают по самой простой причине: постольку, что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что все их знают. Да, говорим мы, все знают, но знают отвлеченно. Знают, например, что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени эта жизнь была отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно изучали народную жизнь, даже *жили* с народом, то есть жили с ним не в особой помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, *смотрели* на его нужды, видели все его особенности, прочувствовали его желания, узнали его воззрения, даже склад его мыслей и проч. и проч. Они ели вместе с народом его же пищу; другие даже *пили* с ним. Наконец, есть и такие, которые даже вместе с ним работали, то есть работали его же простонародную работу. Хоть ма-

ло их, да есть. И что же? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: Вы, господа, знаете одну внешность; Вы очень умны, Вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ее вы не знаете. Простолюдин будет говорить с вами, рассказывать о себе, смеяться вместе с вами; будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего *посконного* земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть вы оденетесь (или судьба вас оденет) во все посконное, пусть вы даже будете работать вместе с ними и нести все труды его, он этому не поверит. Бессознательно не поверит, то есть не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в плоть и кровь его»⁵⁰⁷.

Для Григорьева же достаточно почувствовать в себе общий дух, то, что «в известную минуту сказывается невольным общим настроением, вопреки частному и личному, сознательному или бессознательному настроению во мне, в вас, даже в г. Добролюбове – наравне с кузнецом из Апраксина ряда. Это что-то сказывается в нас как физиологическое, простое, неразложимое»⁵⁰⁸. Тогда наступит гармония, всеобщее примирение и счастливое равновесие. Беда только в том, что большинство затемняют свои живые впечатления, не доверяются «жизни по душе» – кто из выгоды, кто из моды, кто по неведению, кто из гордости. Но без этого все социальные реформы безуспешны.

Он уже не доверяет государству. Это не удивительно при его резком неприятии давления и унификации. Удивительно скорее то, что он так поздно пришел к этому, в чем мы видим, как говорилось выше, влияние Погодина. Государство для него сила внешняя, сила не обусловленная нашим характером, которому все-таки роднее средневековый федерализм: сила, порожденная необходимостью противостоять татарам. С тех пор «весь смысл нашего развития заключается... в том, что наша самость, осо-

бенность, народность постоянно, как жизнь, уходит из-под различных более или менее тесных рамок, накладываемых на нее извне – и что, с другой стороны, различные внешние силы стремятся насильственно наложить на ее разнообразные явления печать известного, так сказать официального уровня и известного, так сказать, форменного однообразия... она как будто принимает печать известного формализма – но упорно, в отдаленных, глубоких слоях своих, таит свои живые соки... Равнодушно отвергая своего Перуна... жизнь в сущности удерживает все свое язычество – и под именами христианского святого чтит «Волоса, скотья Бога», создает святую Пятницу и проч. и проч. Из-под устанавливающейся догматической нормы, она, как растение, расползается в расколы. Не в силах бороться с московской политической централизацией, она только упорно затаивает в себе и упорно хранит соки своих местностей»⁵⁰⁹. Государство всегда преследует только свой интерес, поэтому необходимо сплоченное общество с силой мнения. Однако, если взглянуть на проекты реформ, идущие от общест-венности, то окажется, что их авторы совершенно не знакомы с жизнью – они теоретичны и формальны. Понятно, в чем для Григорьева заключалась теоретичность либералов, радикалов или правых, ведь он претендует на универсальность своих идей. Теоретичность эта может идти либо от не-осознанности, либо от корысти – и в любом случае такие реформаторы своим стремлением подгонять жизнь под узкие рамки только повредят ей. «Все они происходят, – говорит он об этих проектах, – от неверия в жизнь, идеалы и искусство. Все это разрешается утилитарною утопией плотского благополучия или душевного рабства и застоєм под гнетом внешнего единства, за отсутствием единства внутреннего, то есть Христа, то есть Идеала»⁵¹⁰.

Надо создавать общество, «проникнутое выжитыми безусловными нравственными идеалами»⁵¹¹. И только после этого возможен диалог с правительством, возможны адекватные преобразования. Григорьев не про-тив ни земского собора⁵¹², ни гражданских свобод, ни идеи самоуправле-

ния⁵¹³. Но без решения вопроса «о нашей умственной и нравственной самостоятельности» – все эти нововведения могут принести только вред: распущенность, взяточничество, произвол и проч. И вопрос этот – важнее вопроса и о крепостном праве, и о политической свободе⁵¹⁴.

Излишне говорить об утопичности проекта сплотить общественность интуитивно–консервативными идеями.

Однако ирония заключается в том, что Григорьев, сам того не желая, угадал подводные камни эпохи преобразований. Случайно, он попал в точку. Ведь что такое его мнение? – выступление против эйфории от *внешнего* единства общества в начале либеральной эпохи и чрезмерных надежд на монархию, за содержательно–целевую консолидацию без опоры на государство.

В самом деле. «Редко кто, – пишет Страхов о начале перемен, – мог удержаться от увлечения. Это было именно время надежд и порываний. Все умы были в таком возбужденном состоянии, все пришло в такое брожение, что казалось, могли совершаться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось: казалось, что мы захотим, то и сделаем»⁵¹⁵. Неожиданная смерть Николая и кардинальные преобразования при его сыне создали у общества иллюзию, что самодержавие, опираясь на него, станет панацеей. Поразительно, как единодушно выражали свои приветствия царю и славянофилы, и Герцен, и Чернышевский⁵¹⁶. Причем, надежды эти содержали в себе требования весьма радикальных преобразований, широких либеральных мер, которые способствовали бы оформлению гражданского общества: расширение свободы слова, суды присяжных, позже, даже конституция и т. п. Именно на этой волне произошло иллюзорное единство от славянофилов до радикалов, хотя цели–то у всех были разные

Позиция левых и либералов много раз описана. Нам бы хотелось, поэтому, обратить внимание читателя на славянофилов. Для них – и это еще одно очевидное отличие от Григорьева – реформы Петра нарушили органичность нашей истории. Идеал жизни ушел из образованного общества,

найдя приют среди патриархального крестьянства. Поэтому славянофилам, по их логике, сперва надо было вернуться в точку, где органичность развития была прервана. В то время как перед Григорьевым такая проблема не стояла, славянофилы, из внимания к допетровским элементам общественного устройства в виде земств, общины и т. п., не могли остаться в стороне от политических преобразований: они были им необходимы для возвращения в «точку органичности», что приводило к сближению их требований с либеральными.

Очень характерна в этом смысле, и в смысле степени общественных иллюзий, статья Чернышевского 1856 года: «Разногласия между убеждениями славянофилов, — пишет он, — органом которых хочет быть «Русская беседа» и убеждениями людей, против которых они восстают, касается многих очень важных вопросов. Но в других, еще более существенных стремлениях, противники совершенно сходятся, мы в этом убеждены. Мы хотим света и правды — «Русская беседа» также; мы, по мере сил, восстаем против пошлого, низкого и грязного — «Русская беседа» также; мы считаем коренным врагом нашим в настоящее время невежественную апатию, мертвенное простодушие, лживую мишуру — «Русская беседа» также. И, каковы бы ни были разногласия, мы уверены, что «Русская беседа» в сущности точно так же понимает эти слова, как и мы. Согласие в сущности стремлений так сильно, что спор возможен только об отвлеченных и потому туманных вопросах, возможны только случайные ошибки с той или другой стороны, от которых и та, и другая сторона с радостью откажется, как скоро кем-нибудь из чьих бы то ни было рядов будет высказано более здоровое решение, потому что тут нет разъединения между людьми: все хотят одного и того же»⁵¹⁷. Вот такой карточный домик искреннего заблуждения: если что и было, так только временное сходство мер по достижению *своих* целей. Когда в конце 1858 года власть продемонстрировала свое непоколебимое право проводить все преобразования самостоятельно, отвергнув адреса депутатов дворянских комитетов, начинается раскол: ради-

калы, неудовлетворенные действиями правительства, переходят в оппозицию и начинают готовить революцию. Либералы обиделись: «Власть сама действует почти революционно, от других же требует слепого, безответного повиновения», – скажут они⁵¹⁸. В стране нарастала напряженность: с ростом радикализма либералы окончательно растерялись, а правительство, теряя социальную опору, постепенно клонилось к реакции. В итоге все разрешилось волнениями 1861 года, арестами, либеральной оппозицией правительству, выстрелом Каракозова, новой волной реакции – и в результате фатальным расколом общества на лагерь правительства, радикалов и беспомощных либералов. А причина–то была в слишком большой надежде на власть и слишком большой радости от иллюзорного единства. Быстро и резко разрушенные, они породили не менее большое разочарование общества как в правительстве, так и друг в друге. Вот и получается (имея в виду Григорьева), по китайской поговорке про игру в кости, что угадал тот, кто не играл.

Таким образом, в последний период жизни Григорьев обретает цельность своего внутреннего мира. Впечатления, полученные в Италии, разрешили его последний серьезный мировоззренческий конфликт – вопрос о природе Бога. Он отходит от догматического православия и устремляется к мистике. Теперь для него божественное – внутренний голос чувства, а Истина, Красота и Христос становятся синонимами. Стремясь, что всегда характеризовало его, к общественной самореализации, он формулирует определенную мировоззренческую позицию, пусть противоречивую и зачастую размытую, но, во всяком случае, более разработанную, чем в предыдущие годы. Он отталкивается от критики рационализма и провозглашает чувство, а, следовательно, и искусство, универсальным и абсолютным гносеологическим методом. Эта абсолютизация разводит нашего героя как со славянофилами с их «христианским любомудрием», так даже и с почвенниками. Формулированием онтологии и гносеологии, Григорьев получает возможность представлять крайнюю субъективность своих суждений как

нечто общественно значимое. Это в первую очередь важно для его понимания истории. Рассуждая о народности, Григорьев противостоит в первую очередь гегельянцам. Он критикует 1) их представление о человечестве как универсальной механической целостности; 2) их инструментализм, то есть представление об истории народа как орудии универсальной цели – самореализации Мирового Разума; 3) их концепцию линейного прогресса, то есть представление о развитии народа как о процессе, в ходе которого отдельный этап развития – только ступень для перехода на следующий, не имеющая самостоятельной ценности. Вместе со славянофилами критик противопоставляет этому: 1) релятивизм, то есть идею существования самобытных народных организмов, которые не могут искусственно объединяться в «безликом человечестве», а также идею самоценности каждого этапа в истории народа; 2) имманентизм, который предполагает изначально заложенные в народе возможности, которые раскрываются в процессе его развития, так что народ не может считаться простым орудием для реализации трансцендентной ему сущности; 3) принцип органичности, который рассматривает развитие народа как развитие на основе присущих народу «начал». Однако в остальном единства со старшими современниками–консерваторами не было. Григорьев выступал за «полицветное» человечество; славянофилы разнообразие народных черт сводили к двум доминантам – кушитству и иранству. Также не было единства в понимании органичности: Григорьев утверждал, что она абсолютна; славянофилы представляли ее находящейся в постоянной угрозе; характерными особенностями народа славянофилы, опираясь на свою патриархальную религиозность, считали христианские добродетели; Григорьев, следуя эстетической мистике, – двойственность. Исходя из этих принципов и опыта, славянофилы не приняли реформы Петра которая для них как раз органичность–то и нарушила, и поддержали Александра II, надеясь с его помощью привести Россию к «точке органичности». У Григорьева был другой опыт: он смог вернуться к «жизни по душе» и поэтому ему казалось, что наша органич-

ность нарушена не была. Но этот же опыт привел его к совершенно особой позиции в эпоху либеральных реформ и тем самым оставил на обочине дороги, по которой двигалась молодая общественность.

Для общества он так и останется «пьяным и нелепым»⁵¹⁹, в лучшем случае «забавным»⁵²⁰. «Имя его никогда не было популярно, на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку, иногда презрения, иногда мудрой благосклонности к бедному безумцу»⁵²¹. А впрочем, его предпочитали не замечать. «Тяжело, – вздохнет он, – стоять почти что одному, тяжело верить в правду своей мысли и знать вместе с тем, что в ходу, на очереди стоит не эта, а другая мысль»⁵²².

Между тем, жил он по-прежнему бедно. Временами сидели без чаю и сахару; когда было сухо, но холодно он не выходил из дома из-за отсутствия теплой одежды, когда тепло, но влажно – из-за отсутствия галош. В Москве оставался старик-отец, жена, постоянно требующая денег, подрастающие дети, нуждавшиеся в образовании. Здесь, в Петербурге, – осуждение друзей за долги и пьянки, за пренебрежение браком. Махнув на все рукой, он уезжает в мае 1861 года вместе с Марией Федоровной в Оренбург учителем русской словесности в кадетском корпусе. «Дело в том, – объяснял он Погодину, – что Вам и мне нужна деятельность. Мне нужна она так, что либо в петлю... либо *что-нибудь* делать»⁵²³. Да еще в корпусе часть жалования дали вперед, да ведь теперь появилась возможность пристроить детей, да ведь в Оренбурге жизнь дешевле, да и, в конце концов, от хулигателей подальше...

«Тверь я видел два раза и прежде, – пишет он с дороги Страхову, – но никогда не поражала она меня так, как в этот раз своею мертвенностью. Точно сказочные города, которые заснули. А у нее была *история* – куда же она подевалась? Только великолепный по стилю иконостас испакощенного

местным усердием собора напоминает еще о бывалой жизни... Ярославль – красоты неописанной. Всюду Волга, и всюду история. Тут хотелось бы мне покончить свое земное странствие. Тут, кстати, чудотворная икона Толгской Божьей Матери, которой образом благословила меня покойница мать. Четыре дня я прожил в Ярославле и все не мог находиться по его церквам и монастырям, налюбоваться на его Волгу... Казань мне не понравилась. Татарская грязь с претензиями на Невский проспект. С Казанью кончаются города и начинаются *сочиненные* правительственные притоны вроде Самары, Бузулука и Оренбурга»⁵²⁴.

Скучный город скучной степи, –

скажет он про пункт своего назначения, –

Самовластья гнусный стан.

У ворот острог да цепи,

А внутри иль хам, иль хан⁵²⁵.

«Ничего не боялся я столько, – сообщает он по прибытии, – как жить в городе без истории, преданий и памятников. И вот – я именно в таком городе. Кругом – глушь и степь, да близость Азии, порядочно отвратительной всякому европейцу. Город – смесь скверной деревни с казармою. Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы – ничего, ничего...»⁵²⁶. Впрочем, приняли его хорошо. Полковник Митурич, инспектор корпуса, был человек просвещенный, доверявший столичному литератору – так что Григорьев даже воспрял: «Верхним классам, – признается он в письме, – читаю вместо уроков лекции, в средних ввел славянскую грамматику. *Начальство* ходит почти на каждую мою лекцию – и, так как... это люди добрые и честные, то пока мне... как рыбе в воде. И, вечный Дон Кихот, я готов уже видеть перст Незримого в моем Патмосе»⁵²⁷. И воспрянул он настолько, что решил прочесть накануне 1862 года цикл публичных лекций о Пушкине. «Первая лекция, – рассказывает он Страхову, – направленная преимущественно против теоретиков, – а здесь, как и везде, все, кто читает, их последователи, привела в немалое недоумение. Вторая кончилась

сильнейшими рукоплесканиями. В третьей защите Пушкина как гражданина и народного поэта я озлобил всех понимавших до мрачного молчания. В четвертой я спокойно ругался над поэзией «о Ваньке ражем» и о купце, «у коего украден был калач», обращаясь прямо к поколению, которое ничего, кроме Некрасова не читало, а кончил насмешками над учением о соединении луны с землею;* пророчеством о победе Галилеянина, о торжестве царства Духа – опять при сильных рукоплесканиях. Что ни одной своей лекции я заранее не обдумывал – в этом едва ли ты усомнишься... народу было у меня постоянно много, но, конечно, было бы двое более, если б я объявил, что буду х.. показывать или слона приведу»⁵²⁸. Рукоплескания рукоплесканиями, но с тех пор посматривать на него стали несколько косо. Да еще повелись слухи о Марии Федоровне, да об их отношениях. А отношения как раз зашли в тупик.

Вот он жалуется в письме: «Бесхозяйство и самолюбие несчастной... «барышни», проклятая претензия жить не хуже других; да моя слабость** ...тянули меня в омут... Возвращение с уроков в двенадцать часов – чай, кофе, вечное нытье, безобразные сцены ревности до того, что она раз возревновала меня к двенадцатилетней девчонке. Зайдет кто-нибудь, сидишь с хорошим человеком, как на иголках, потому что, наверное, она уже в спальне ревет как оставленная и покинутая... Затем обед; затем опять уроки, и в семь часов опять возвращаешься домой хуже всякой разбитой на ноги клячи... Сядешь за работу – опять нытье или капризы. От праздности, разумеется... Три года жизни со мною не могли сделать того, чтобы она перестала говорить наивно мерзости – например, что она никогда бы не пошла замуж за человека, живя с которым, сама должна бы была стряпать. Да ведь не потому, чтобы она ленива была – нет! а потому, что *стыдно*»⁵²⁹. Скандалы доходили до битья посуды и стекол, беганья в участок, где она

* Речь идет о социализме.

** Пьянство.

«лжет, что ее оставляют без копейки, что ее увезли от родителей»⁵³⁰. Да к тому же, рассказывает в письме Григорьев, «достойная и добродетельная супруга»^{***} прислала на меня жалобу, и по духу российского законодательства я обязан высылать этой барыне на блядню и пьянство ее часть моего жалования — чем опять финансовые дела мои расстроились»⁵³¹. Шептался весь город. «А ведь ты-то вспомни, — объясняет наш герой Страхову, — мне сорок лет, а по моей истасканной и взрытой всякими бурями физиономии — дадут мне, пожалуй что, и с большим походцем. Плохи уж надежды на то, чтоб кто-нибудь еще меня полюбил...»⁵³². И ведь он несколько раз уже пытался порвать. «Да выйдешь, бывало, из дома — перекрестишься на церковь и вдруг скажешь себе: Нет, потерплю еще, пострадаю еще — за нее пострадаю»⁵³³.

«Зато во всякое свободное время моя тесная квартирка набита преданными мне учениками, и то посвящаю я их слегка в философские вопросы, то читаю «Минина», — я плачу, и все кругом меня плачет, и до ночи верится, что в жизни есть еще что-нибудь повыше личного страдания»⁵³⁴. А так такая тоска возьмет: и себя жалко, и ее жалко, и отца, и детей, и жену...⁵³⁵ Все, конечно, кончилось разрывом. В мае 1862 года он один возвращается в Петербург.

Говорят, в это время он сильно переменился: был хмур и озабочен, но вместе с тем рассеян и неопрятен. Он пишет: «Стремления, надежды, желания, все во мне замерло: жизнь покончена, и звучит только в ушах однообразно-унылая песня: «ты, брат, ненужный человек»⁵³⁶. Ему помогали, практически опекали, друзья из редакции «Времени». Но становилось все хуже и хуже: он пил постоянно, так что давать ему деньги было бесполезно. Долги у него были огромные, так что теперь он ютился по грязным номерам каких-нибудь маленьких и шумных трактиров. Долговая тюрьма

*** Лидия Федоровна Корш.

стала его вторым домом. Там очень хорошо относился к нему смотритель. «Это был добрый старичок, большой почитатель пишущей литературной братии. Он смотрел на своего талантливую заключенника с нескрываемым уважением, оказывал ему всевозможное снисхождение и давал разные льготы, даже отпускал иногда в город на честное слово воротиться ночевать. Если нашего узника навещал кто-нибудь из литераторов, то старик позволял видаться с ним вместо общей залы в своей собственной квартире и только просил позволения самому присутствовать, как он выражался, «при умной беседе господ сочинителей»»⁵³⁷.

Но когда тебе лучше в долговой тюрьме, когда остается только нервический озноб, сердечная боль и дешевая водка, – природа милостивится. Седьмого октября 1864 года Аполлон Александрович Григорьев умер от апоплексического удара. Говорят, накануне у него было шумное объяснение с кредитором.

На Митрофаньевское кладбище, пишет современник, – «проводить Григорьева собралось немного народу: редакция журнала «Эпоха», несколько человек из «Библиотеки для чтения», да два–три актера...и какие–то личности в странных одеждах. Как оказалось, пансионеры дома Тарасова*, сидевшие с Григорьевым в одной комнате. Погода стояла хмурая. На возвратном пути с кладбища все зашли в кухмистерскую закусить. К концу завтрака явилась госпожа Бибикова, пожилая дама, очень развязная и бойкая, которая во всеуслышание начала рассказывать нам, как она выкупила покойного из долгового отделения и как он предоставил ей за это право на перспективную плату переведенной им шекспировской драмы «Ромео и Джульетта». Рассказ почтенной этой генеральши подействовал на всех присутствующих крайне болезненно. Но ни у кого не хватило духу остановить ее, дать ей понять всю неуместность этого поведения.

* Долговой тюрьмы.

Вся беспомощность, низменность общественного положения русского литератора сказывалась тут беспощадно, в самых ярких жизненных красках. Конечно, любой столоначальник, любой квартальный надзиратель удостаивается лучших проводов»⁵³⁸.

Заключение.

Что было главным в жизни Аполлона Григорьева? Нам кажется, что страдание. Он страдал в детстве от домашнего догматизма, деспотической опеки и одиночества. Он страдал в университете от комплекса неполноценности перед более родовитыми или более талантливыми товарищами. Он страдал после университета от жестокой черной меланхолии и невозможности реализовать как в науке, так и на службе или в литературе. Он страдал от неудачного брака, не сложившихся отношений с отцом и от общественного порицания своего пьянства. Он страдал, когда распался кружок «Москвитянина». Он страдал от того, что не мог открыть свой журнал и полностью высказать обществу свои взгляды, наивно полагая, что обществу они могут быть полезны. Он страдал, когда это общество смеялось над тем, что ему все же удавалось высказать. Он страдал от физиологических и психологических последствий алкоголизма. Он страдал в Москве, Петербурге, Венеции, Флоренции, Париже, Берлине, Твери и Оренбурге. Хорошо, что он не долго жил.

Можно сказать, что страдание было его проводником по жизни. Он полюбил дворню, когда скрывался среди нее от родительского глаза; он стал лучшим учеником–гегельянцем на юридическом факультете, потому что этого требовало его израненное самолюбие; он вернулся к истокам и начал «жить по душе», потому что не мог терпеть душевные муки, рожденные тем миром, который он для себя построил; он создал систему «органического» мировосприятия и жил в ней, как на острове, среди кипящего моря отчаяния.

Благодаря этому, его взгляды очень гуманистичны – в этом их непреходящее значение, хотя его судьба интереснее того, что он написал.

Его идеи слабо структурированы; они оригинальны, но мутны и утопичны. Главное, может быть, что мы выяснили для себя, – так это то, что какое ни возьми понятие в григорьевской системе, оно, в конечном

счете, основывается на субъективном принятии или отвержении. Григорьев – автор, которого почти невозможно объективизировать. И этот вывод важен, потому что показывает, что нельзя придавать его идеям объективное наполнение. Его идеи – *это только его правда*. В этом смысле некорректно, например, приводя цитату: «Пушкин – наше все», говорить, что Григорьев одним из первых осознал место поэта (в том смысле, как принято это понимать, а именно такой смысл навязывают ему) в русской литературе. То, что вкладывал в эти слова Григорьев, и в голову не придет ни тогдашним, ни теперешним ценителям поэзии. И надо сказать, что он заслуженно остался не понятым: объективно, разобраться в нем очень сложно. Но не надо из этого делать образ оплеванного пророка, в том смысле, что его взгляды (конкретные оценки и суждения) могут быть созвучны очень немногим – только не надо этих немногих называть «избранными».

Что представляет собою Григорьев как личность историческая? Есть ли какая-то закономерность в его появлении? На наш взгляд только та, что у определенной системы ценностей (имеются в виду идеи радикальной интеллигенции) обязательно возникает контр-система. Или по-другому: должен же был когда-то лагерь дворянских консерваторов дополниться консерватором-разночинцем. Но, если по совести, как можно определить и объяснить весь этот мир калек переходящих, бесшабашных гуляк, прожигателей жизни, философствующих пропойц? Никаких обобщений – у каждого неповторимый путь, хотя и общая судьба.

Но если постараться подняться над эмоциями и объективироваться, получается следующая картина.

В описываемый период в России существовало два течения консервативной мысли: политическое и социальное. Представителем первого, в центре которого стояла проблема государства, был Погодин, продолжавший традиции Щербатова и Карамзина. Социальное же направление, с главным для него вопросом о личности, выразилось в работах Григорьева и старших славянофилов. Социальный консерватизм, как и западничество

1840–х – 1850–х годов, был непосредственным результатом культурной европеизации, результатом появления среди образованных слоев людей с рационализированным самосознанием, отчужденных от гомогенной системы норм и коллективных представлений. Русское общество того времени жило по нормам парижских салонов XVII – XVIII веков, нормам, проникнутым духом рационализма и требовавшим от светского человека значительной приспособляемости, умения соответствовать характеру собеседника. Однако если в Европе это отсутствие искренности воспринималось как высоконравственное поведение, необходимое для обеспечения общественного согласия, то в России над философским и социальным смыслом светского поведения не задумывались, слепо подражая лишь форме. В образованном обществе XVIII – начала XIX веков рационализированная форма человеческих отношений в основе своей не была воспринята осознанно. Молодое поколение, родившееся после 1800 года, воспринимало эту среду отстранено, что позволяло ему видеть многие слабые ее стороны. Одни, будущие западники, обратили внимание на нерелективность жизни общества и выступили с культом творческого разума. Другие, консерваторы, не приняли сами нормы светского поведения, которые представлялись им непостоянством, лицемерием и самообманом, основанными на рациональном прагматизме и разрушающим традиционные нормы человеческих отношений. Такой подход выдвигал проблему межличностных отношений и соответственно проблему личности на центральное место в системе их взглядов. Вокруг этого группировались все остальные вопросы. Но трактовки отдельных тем у славянофилов и у Григорьева различались, что было вызвано социальными, культурными и психологическими причинами.

Итак, главным для социальных консерваторов был вопрос о формализации человеческих отношений и отчуждении человека.

Славянофилы решение проблемы видели в синтезе разума, чувства и воли, причем этот внутренний синтез должен быть просветлен православи-

ем. Григорьев же подчеркивал, что только чувство является фундаментом внутреннего мира. Для него было необходимо восстановить приоритет чувства в душе, подчинив ему разум – принцип, именуемый им «жизнью по душе».

Причину расхождений в трактовках этого вопроса можно видеть в психологическом различии мыслителей. Славянофилы по натуре были логиками. Мышление являлось их основной психологической функцией, и поэтому они не стремились полностью дискредитировать его, а старались лишь преодолеть его исключительность. Другое дело Григорьев. После выхода из «гегельянского» кризиса, чувство стало восприниматься им как прозрение. Тех, кто не разделял его идей, он обвинил в неискренности – черте, которая в первую очередь характеризовала для него аристократическое общество.

Из вышеописанных различий вытекали и различия в гносеологических представлениях мыслителей. Славянофилы, соответственно, ратовали за «синтетическое знание», то есть знание, полученное одновременно всеми душевными сферами и согласованное с православной традицией. Григорьев же единственным источником истинного знания считал откровение, запечатленное в произведении искусства, вследствие мистического слияния души художника с Богом.

Религиозные взгляды Григорьева были не столько православно-догматическими, сколько мистико-православными и пантеистическими. Как человек наклонный к чудесному, он в конце концов пришел к мысли о релятивности Бога, то есть к воззрению, согласно которому Бог существует не в отрешенности от человеческого субъекта и по ту сторону всей человеческой жизни, а всегда находится в личном контакте с человеком, постоянно присутствует в нем в виде голоса чувства. Чувство всегда нравственно, так как душа по природе своей стремится к Богу.

Славянофилы не могли принять григорьевский взгляд, так как в исключительности чувства видели такую же односторонность, как и в ис-

ключительности разума. Следовательно, делался ими вывод, чувство, не согласованное с другими сторонами души, не может быть всегда нравственно, так же как и красота, не согласованная с догматами православия.

Критика рационализации личности подводила мыслителей к критике рационализации (и, следовательно, универсализации) бытия. Одним из ее аспектов была критика просветительно–гегельянских историософских концепций. И славянофилы, и Григорьев выступали против: 1) представления о человечестве как универсальной механической целостности; 2) инструментализма, то есть представления об истории народа как орудии универсальной цели (например, самореализации Мирового Разума); 3) концепции линейного прогресса, то есть представления о развитии народа как о процессе, в ходе которого отдельный этап развития – только ступень для перехода на следующий, не имеющая самостоятельной ценности.

В противовес консерваторы предложили имманентно–качественный подход. В основе его лежат принципы релятивизма, имманентизма и органичности. Релятивизм подразумевает, во–первых, существование самобытных народных организмов, которые не могут искусственно объединяться в «безликом человечестве», и, во–вторых, самоценность каждого этапа в истории народа. Имманентизм предполагает изначально заложенные в народе возможности, которые раскрываются в процессе его развития, так что народ не может считаться простым орудием для реализации трансцендентной ему сущности. Принцип органичности рассматривает нормальное развитие народа как развитие на основе присущих народу «начал». Однако на этом сходства в доктринах консерваторов кончаются.

У славянофилов, в соответствии с вышеописанными представлениями, субъектом истории фактически выступал не столько народ, сколько вера. Исторический процесс – это борьба двух религиозных начал: кушитства и иранства. Народы являются лишь носителями веры, которая одновременно составляет их сущность. Из этих положений следовало, во–первых, что потенциальное разнообразие народных организмов ограниче-

но двумя религиозными началами, а, во-вторых, что национальные особенности могут изменяться и даже исчезать под влиянием религии и культуры соседних народов. Таким образом, органичность развития народа легко может быть нарушена. Она не существует в силу необходимости, а постоянно находится под угрозой.

Григорьев же, проповедуя мистическое личностно-эстетическое единение души с Богом, по сути, не считал религию явлением общественным, объединяющим народ. Поэтому он не мог отождествлять или даже заменять в истории народ его религией. Традиционное православие он склонен был рассматривать лишь как одно из явлений русской культуры. Не соглашался он и с принципом линейного развития двух мировых религиозных начал, поскольку исходя из него фактически игнорировалось бесконечное разнообразие народов. Григорьев полагал, что всякое явление тем жизненнее, чем многоцветнее. Литератор считал, что единственный субъект истории – это сам народ, а мировая история – не эволюция определенных мировых начал, а бесконечность самодостаточных историй отдельных народов. Каждый народ развивается циклически, то есть проходит стадию молодости, зрелости и старости. Смысл народного развития – самопознание, то есть реализация божественных эманаций (импульсов Абсолюта) в пределах возможностей (иначе, сущности, идеала, начал или духа) народа. Дух народа, его качества, проявляются в том, *как* народ реализует в культуре полученные им идеальные импульсы. Именно дух является основой единства народа; он неотделим от народного организма и неизменен на протяжении всей его истории. Таким образом, самопознание – это реализация Абсолюта в пределах потенции народа. Утверждением двойственности самопознания (как познания народом самого себя и как самораскрытия Мировой Сущности) критик лишал себя возможности вдаться в гегельянский инструментализм.

Вторая важная идея, которая следовала из этих рассуждений, – утверждение, что развитие народа всегда органично, и органичность эта не может быть нарушена.

Различия во взглядах социальных консерваторов на общие историко-софские проблемы не могли не отразиться на их подходах к русской истории. Для славянофилов сущностью русского народа было православие (иранское начало). Соответственно, идеальной организацией общества выступала община, без которой немыслимо истинное христианство. Именно община являлась для них воплощением идеальных межчеловеческих связей, которые они именовали соборностью. Соборность мыслилась как особый тип объединения, где личность свободна, но ее свобода основана на единении с другими личностями. На Руси видимым воплощением духовной общины верующих являлась община крестьянская, основанная на общем землевладении, согласии, общих обычаях и управляемая миром в соответствии с православной традицией и принципом единодушия. Это единая духовная сущность, растворившись в которой индивид обретает внутреннюю целостность и истинную свободу. Это вневременной коллективный индивидуум, являющийся объектом истории. Такой взгляд, конечно, был обусловлен как интеллектуальными интересами и пристрастиями славянофилов, тяготевшими к классическим богословским трудам, так и их социальным опытом и культурными традициями.

Славянофилам казалось, что реформы Петра I занесли в Россию кушитский дух, и это нарушило органичность развития страны. Образованные слои, зараженные западным рационализмом, по сути, перестали быть русскими. Носителем народности является только крестьянин. Отсюда особое внимание славянофилов как к допетровским общественным институтам, так и к патриархально–усадебному образу жизни, воплощающим народные начала.

Григорьев же сущность русского народа видел в ином. Он говорил, что особенность русского духа – двойственность: присутствие в культуре

одновременно тезиса и антитезиса, движения центробежного и центростремительного. Конкретно–исторически в послепетровской России русский дух выразился в сосуществовании в народе «смирного» и «хищного» начал, что, конечно, шире славянофильского понимания и смягчает противостояние Россия – Запад. Широта народного духа не терпит никакого давления извне, поэтому и единство народа не предполагает никакой институализации и является чисто психологическим. Он как мистик не разделял православного коллективизма славянофилов. Его представление о гениях–художниках и, соответственно, о неравенстве возможностей индивидов, приводило к мнению, что община только нивелирует общество, лишает его полицветности.

В сущности, и Григорьев, и славянофилы говорили об одном и том же – о невозможности полноценного функционирования и развития атомизированной личности. Но подходили к этому с разных точек зрения. Славянофилы опирались на экклезиологию, а Григорьев исходил из эстетическо–мистического мировосприятия.

Петровские реформы, по Григорьеву, не противоречили народной сущности. Народ не потерял органичности и не был расколот. Но это единство пока еще большинством не прочувствовано. Только средние городские слои (в первую очередь купечество), хотя и неосознанно, лучше других синтезируют в себе старые и новые ценности.

Таким образом, можно сказать, что, во–первых, славянофилы были носителями патриархально–дворянской традиции, а Григорьев – патриархально–мещанской и, во–вторых, что славянофилы в социальном консерватизме представляли направление философско–рациональное, а Григорьев – мистическо–интуитивное.

Эти различия определили их позиции во время реформ Александра II. Старшие славянофилы поддерживали либеральные стремления, поскольку считали, что с их помощью смогут нейтрализовать последствия петровских преобразований (через отмену крепостного права, создание земств и

т. д.) – преодолеть институционально закреплённый разрыв дворянства и народа и тем самым вернуться в «точку органичности». Правда, их либерализм выразился только в методах, то есть был *функциональным*, поскольку цели их оставались консервативными. Григорьев, напротив, не поддерживал либеральных проектов. Во-первых, он не проявлял интереса к традиционным социальным, политическим и экономическим институтам. Во-вторых, в силу своего эстетического мировосприятия не доверял государству как носителю формализации, считал монархию чуждой народу (так как она уничтожила местные особенности областей) и потому полагал, что она так или иначе все преобразования проведёт в своих интересах, а не в интересах земли. В-третьих, ему казалось, что даже те проекты реформ, которые исходят от общества, составлены на основе чуждой рационалистической философии. Он считал, что решающее для России перемены должны свершиться в первую очередь в области культуры и сознания, а не в социально-экономической сфере. Перед тем как начинать реформы, общество должно было стать искренним в своих устремлениях, понять те духовные начала, на которых основано развитие русского народа, – без этого дальнейшее движение невозможно. Он так и остался на позициях культурного консерватизма.

Аполлона Григорьева часто называют русским Гамлетом. Но нам кажется (здесь мы согласны с В.Саводником), что справедливее было бы назвать его русским Дон-Кихотом. В нём, как и в герое Сервантеса, сочеталась беззаветная вера в идеалы, которым он служил, и абсолютное неумение считаться с реальной действительностью.

Примечания.

- ¹ Григорьев А.А. Стихотворения Аполлона Григорьева. М., 1915. С.IV.
- ² Там же. С.II, XXXIII.
- ³ Языков Н. Пророк славянофильского идеализма// Дело.1876. №9. С.37.
- ⁴ Там же. С.9.
- ⁵ Там же. С.22.
- ⁶ Писарев Д.И. Прогулки по садам российской словесности// Русское слово. 1865. №3. С.7.
- ⁷ Страхов Н.Н. Воспоминания об А.А. Григорьеве// Эпоха. 1864. №9.
- ⁸ Аверкиев Д. А.А. Григорьев // Эпоха. 1864. №8. С.2.
- ⁹ Там же. С.6.
- ¹⁰ Блок А. Судьба Аполлона Григорьева // Григорьев А.А. Указ. соч. С.I.
- ¹¹ Гроссман Л. Основатель новой критики// Русская мысль. 1914. №11. С.172.
- ¹² Бем А. Оценки Григорьева в прошлом и настоящем// Русский исторический журнал. 1918. №5. С.310.
- ¹³ Иванов-Разумник Р.И. Аполлон Григорьев// Григорьев А. Воспоминания. М.,1930. С.608.
- ¹⁴ Там же. С.648.
- ¹⁵ Лейкина В. Реакционная демократия 60-х годов. Почвенники// Звезда. 1929. №6. С.173.
- ¹⁶ Там же. С.169.
- ¹⁷ Ходанович М.А. Основные понятия философской концепции А.Григорьева// Социальная философия в России в XIX веке. М.,1985. С.72.
- ¹⁸ Там же. С.67.
- ¹⁹ Носов С.Н. Письма А.Григорьева как источник по истории славянофильства// Вспомогательные исторические дисциплины. 1981. Т.XII. С.126.
- ²⁰ Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - критик// Ученые записки Тартусского гос. Университета. Вып.98. Тарту, 1960. С.128.
- ²¹ Виттакер Р. Аполлон Григорьев – последний русский романтик. Спб., 2000. С.155, 428.
- ²² Там же. С.195.
- ²³ Там же. С.13.
- ²⁴ Там же. С.376.
- ²⁵ Там же. С.287.
- ²⁶ Там же.С.109.
- ²⁷ Там же. С.20.
- ²⁸ Там же. С.440.
- ²⁹ Носов С.Н. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М.,1990. С.3.
- ³⁰ Там же. С.184.
- ³¹ Там же. С.3.
- ³² Там же. С.4.
- ³³ Там же. С.177.
- ³⁴ Там же. С.14.
- ³⁵ Там же. С.26.
- ³⁶ Там же. С.46.
- ³⁷ Там же. С.41.
- ³⁸ Там же. С.62.

-
- ³⁹ Там же. С.65.
⁴⁰ Там же. С.89.
⁴¹ Там же. С.176.
⁴² Маневич Г. Друзьям издадека, или письма странствующего русского Гамлета. М.,1993. С.13.
⁴³ Там же. С.18.
⁴⁴ Там же. С.59.
⁴⁵ Там же. С.71.
⁴⁶ Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М.,2000. С.21.
⁴⁷ Там же. С.38.
⁴⁸ Там же. С.198.
⁴⁹ Там же. С.46.
⁵⁰ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений и писем. Т.1. М., 1918. С.13.
⁵¹ Там же.
⁵² Там же.
⁵³ Там же.
⁵⁴ Там же. С.41.
⁵⁵ Там же. С.16.
⁵⁶ Там же. С.31.
⁵⁷ Там же. С.8.
⁵⁸ Там же. С.2.
⁵⁹ Там же. С.8.
⁶⁰ Там же. С.7.
⁶¹ Там же. С. 20.
⁶² Шишкова Э.Е. Московский университетский благородный пансион // Вестник Московского университета. Сер.9. 1979. №6. С.75.
⁶³ Прокопович-Антонский А. Гора учения // Утренняя заря. М., 1808. Кн.6. С.148.
⁶⁴ Фет А.А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С.148.
⁶⁵ Григорьев А.А. Указ. соч. С.73.
⁶⁶ Там же. С.36.
⁶⁷ Там же. С. 42.
⁶⁸ Там же. С.29.
⁶⁹ Цит. по: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1907. Т.18. С.447.
⁷⁰ Григорьев А.А. Указ. соч. С.38.
⁷¹ Там же. С.71.
⁷² Там же. С.10.
⁷³ Там же. С.16.
⁷⁴ Там же. С.39.
⁷⁵ Там же. С.11.
⁷⁶ Григорьев А.А. Воспоминания. М., 1988. С.14.
⁷⁷ Он же. Полное собрание сочинений и писем. Т.1. С.16.
⁷⁸ Там же. С.72.
⁷⁹ Там же. С.75.
⁸⁰ Фет А.А. Указ. соч. С.146.
⁸¹ Григорьев А.А. Указ. соч. С.12.
⁸² Там же. С.34.
⁸³ Там же.
⁸⁴ Григорьев А.А. Указ. соч. С.33.
⁸⁵ Там же. С.21.
⁸⁶ Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С.102.
⁸⁷ Григорьев А.А. Указ. соч. С.31.

-
- ⁸⁸ Там же. С.34.
⁸⁹ Там же. С.33.
⁹⁰ Там же. С.22.
⁹¹ Там же. С.21.
⁹² Там же. С.14.
⁹³ Там же. С.17.
⁹⁴ Там же. С.13.
⁹⁵ Там же. С.1.
⁹⁶ Там же. С.11.
⁹⁷ Там же. С. 37.
⁹⁸ Там же. С.76.
⁹⁹ Там же. С.32.
¹⁰⁰ Там же. С.43.
¹⁰¹ Там же. С. 32.
¹⁰² Там же. С.44.
¹⁰³ Там же. С.36.
¹⁰⁴ Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.,1974. С.63.
¹⁰⁵ Фет А.А. Указ. соч. С.132.
¹⁰⁶ Там же. С.153.
¹⁰⁷ Французские стихи в переводе русских поэтов XIX - XX веков. М.,1973. С.247.
¹⁰⁸ Григорьев А.А. Воспоминания. С.150.
¹⁰⁹ Там же. С. 151.
¹¹⁰ Григорьев А.А. Письма. М., 1999. С.6.
¹¹¹ Григорьев А.А. Воспоминания. С.151.
¹¹² Котляревский Н.А. Мировая скорбь. СПб. 1910. С.179.
¹¹³ Григорьев А.А. Указ. соч. С. 6.
¹¹⁴ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. М.,1990. С.172.
¹¹⁵ Фет А.А. Указ. соч. С.152.
¹¹⁶ Фет А.А. Сочинения. Т.1. М., 1982. С.106.
¹¹⁷ Он же. Ранние годы моей жизни. С.152.
¹¹⁸ Там же.
¹¹⁹ Фет А.А. Сочинения. Т.1. С.208.
¹²⁰ Он же. Ранние годы моей жизни. С.143.
¹²¹ Там же. С.159.
¹²² Полонский Я.П. Сочинения. Т.2. М., 1986. С.414.
¹²³ Фет А.А. Указ. соч. С.152.
¹²⁴ Там же. С.153.
¹²⁵ Григорьев А.А. Воспоминания. С.89.
¹²⁶ Там же. С. 235.
¹²⁷ Фет А.А. Указ. соч. С. 156.
¹²⁸ Барсуков Н.П. Указ. соч. Т.9. С.396.
¹²⁹ Фет А.А. Указ. соч. С.155.
¹³⁰ Григорьев А.А. Указ соч. С.236.
¹³¹ Цит. по: Чижевский Д.И. Гегель в России. Париж. 1939. С.50.
¹³² Соловьев С.М. Избранные труды. М., 1983. С.268.
¹³³ Цит. по: Чижевский Д.И. Указ. соч. С.27.
¹³⁴ Полонский Я.П. Указ. соч. С.418.
¹³⁵ Цит. по: Чижевский Д.И. Указ. соч. С.30.
¹³⁶ Соловьев С.М. Указ. соч. С.260.
¹³⁷ Фет А.А. Указ. соч. С.153.
¹³⁸ Григорьев А.А. Письма. С.6.

-
- ¹³⁹ Гегель. Философия права. М., 1978. С.205.
- ¹⁴⁰ Григорьев А.А. Воспоминания. С.50.
- ¹⁴¹ Цит. по: Чижевский Д.И. Указ. соч. С.211.
- ¹⁴² Соловьев С.М. Указ. соч. С.268.
- ¹⁴³ Фет А.А. Указ. соч. С.155.
- ¹⁴⁴ Полонский Я.П. Указ. соч. С.418.
- ¹⁴⁵ Фет А.А. Указ. соч. С.154.
- ¹⁴⁶ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.47.
- ¹⁴⁷ Русские Пропилеи. Т.1. М., 1915. С.213.
- ¹⁴⁸ Фет А.А. Указ. соч. С. 131.
- ¹⁴⁹ Там же. С.170.
- ¹⁵⁰ Русские Пропилеи. Т.1. С.216.
- ¹⁵¹ А.А. Григорьев. Материалы к биографии. Пг.1917. С.312.
- ¹⁵² Григорьев А.А. Воспоминания. С.50.
- ¹⁵³ Там же. С.152.
- ¹⁵⁴ Фет А.А. Указ. соч. С.226.
- ¹⁵⁵ Григорьев А.А. Указ. соч. С.178.
- ¹⁵⁶ Там же. С.110.
- ¹⁵⁷ Там же. С.235.
- ¹⁵⁸ Там же. С.110.
- ¹⁵⁹ Григорьев А.А. Письма. С.9.
- ¹⁶⁰ Григорьев А.А. Воспоминания. С.89.
- ¹⁶¹ Там же. С.152.
- ¹⁶² Там же. С.89.
- ¹⁶³ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.151.
- ¹⁶⁴ Фет А.А. Указ. соч. С.157.
- ¹⁶⁵ Полонский Я.П. Указ. соч. С. 429.
- ¹⁶⁶ Григорьев А.А. Воспоминания. С.136.
- ¹⁶⁷ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.31.
- ¹⁶⁸ Григорьев А.А. Воспоминания. С.98.
- ¹⁶⁹ Там же. С.155.
- ¹⁷⁰ Тодд У. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб., 1996. С.51.
- ¹⁷¹ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.56.
- ¹⁷² Григорьев А.А. Воспоминания. С.83.
- ¹⁷³ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.34.
- ¹⁷⁴ Григорьев А.А. Воспоминания. С.88.
- ¹⁷⁵ Там же. С.94.
- ¹⁷⁶ Там же. С. 6.
- ¹⁷⁷ Там же. С.119.
- ¹⁷⁸ Григорьев А.А. Письма. С.12.
- ¹⁷⁹ Материалы. С.332.
- ¹⁸⁰ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.46.
- ¹⁸¹ Григорьев А.А. Воспоминания. С.112.
- ¹⁸² Там же. С.113.
- ¹⁸³ Там же. С.97.
- ¹⁸⁴ Там же. С.128.
- ¹⁸⁵ Григорьев А.А. Письма. С.15.
- ¹⁸⁶ Григорьев А.А. Воспоминания. С.151.
- ¹⁸⁷ Там же. С.154.
- ¹⁸⁸ Григорьев А.А. Письма. С.14.
- ¹⁸⁹ Григорьев А.А. Воспоминания. С.122.

- ¹⁹⁰ Григорьев А.А. Письма. С.15.
- ¹⁹¹ Фет А.А. Указ. соч. С.173.
- ¹⁹² Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.41.
- ¹⁹³ Белинский В.Г. Стихотворения Аполлона Григорьева //Отечественные записки. 1846. № 4. С.54–55.
- ¹⁹⁴ Библиотека для чтения. 1846. №3. С.27; Иллюстрация. 1846. №11. С.175; Современник. 1846. №4. С.229; Русский инвалид. 1846. №110. С.433.
- ¹⁹⁵ Григорьев А.А. Воспоминания. С.309.
- ¹⁹⁶ Фет А.А. Указ. соч. С.226.
- ¹⁹⁷ Цит. по: Виноградов А.Е. Российское масонство после правительственного запрета 1822г. Автореф. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1992. С.12.
- ¹⁹⁸ Санд Ж. Графиня Рудольштадт. Минск. 1990. С.141–142.
- ¹⁹⁹ Павлов И.В. Письмо к Н.Н. Страхову // Ученые записки Тартусского государственного университета. 1963. Вып. 139. С.313.
- ²⁰⁰ Кавелин К.Д. Собрание сочинений. Т.3. СПб. 1899. Стб.1085.
- ²⁰¹ Фет А.А. Указ. соч. С.177.
- ²⁰² Григорьев А.А. Письма. С.17.
- ²⁰³ Павлов И.В. Указ. соч. С.344.
- ²⁰⁴ Там же.
- ²⁰⁵ Григорьев А.А. Письма. С.6.
- ²⁰⁶ Там же.
- ²⁰⁷ Григорьев А.А. Избранные произведения. Л., 1959. С.399.
- ²⁰⁸ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.59.
- ²⁰⁹ Григорьев А.А. Воспоминания. С.151.
- ²¹⁰ Там же. С.168.
- ²¹¹ Григорьев А.А. Письма. С.17.
- ²¹² Цит. по: Аннекштейн А. Шарль Фурье, его личность, учение и социальная система. М.,1922. С.40.
- ²¹³ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.51.
- ²¹⁴ Там же. С.64.
- ²¹⁵ Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М.,2000. С.74.
- ²¹⁶ Григорьев А.А. Воспоминания. С.128.
- ²¹⁷ Там же. С.87.
- ²¹⁸ Русские записки. 1917. №1. С.27.
- ²¹⁹ Там же. С.90.
- ²²⁰ Григорьев А.А. Письма. С.15.
- ²²¹ Аксаков И.С. Письма к родным. М., 1994. С.235.
- ²²² Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.174.
- ²²³ Панаева А.Я. Воспоминания. М.,1956. С.106.
- ²²⁴ Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. №2. С.337.
- ²²⁵ Григорьев А.А. Письма. С.14.
- ²²⁶ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.66.
- ²²⁷ Цит. по: Барсуков Н.П. Указ. соч. Т.8. СПб. 1894. С.42.
- ²²⁸ Финский вестник. 1846. Т.8. С. 56.
- ²²⁹ Там же. С.58.
- ²³⁰ Там же. 1849. Т.9. С.10.
- ²³¹ Там же. С.6.
- ²³² Там же. 1846. Т.8. С.64.
- ²³³ Там же. С.6.
- ²³⁴ Там же. 1846. Т.9. С.24.

-
- ²³⁵ Там же. 1846. Т.8. С.4.
²³⁶ Там же. 1846. Т.9. С.3.
²³⁷ Там же.
²³⁸ Там же. С.10.
²³⁹ Григорьев А.А. Указ. соч. С.61.
²⁴⁰ Григорьев А.А. Письма. С.20.
²⁴¹ Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.155.
²⁴² Григорьев А.А. Письма. С.21.
²⁴³ Юнг К.Г. Психологические типы. М.,1994. С.306.
²⁴⁴ Григорьев А.А. Воспоминания. С.85.
²⁴⁵ Григорьев А.А. Письма. С.21.
²⁴⁶ Московский городской листок. 1847. №67. С.268.
²⁴⁷ Григорьев А.А. Указ. соч. С.31.
²⁴⁸ Там же. С.30.
²⁴⁹ Григорьев А.А. Собрание сочинений. Вып.8. М.,1916. С.13.
²⁵⁰ Там же.
²⁵¹ Там же.
²⁵² Григорьев А.А. Письма. С.33.
²⁵³ Отечественные записки. 1850. №2. С.57.
²⁵⁴ Григорьев А.А. Избранные произведения. С.422.
²⁵⁵ Григорьев А.А. Письма. С.33.
²⁵⁶ Егоров Б.Ф. Указ. соч. С.67.
²⁵⁷ Григорьев А.А. Воспоминания. С.309.
²⁵⁸ Там же. С.7.
²⁵⁹ Венгеров С.А. Молодая редакция «Москвитянина» // Вестник Европы. 1886. №2. С.603.
²⁶⁰ Иванов И.И. История русской критики. СПб. 1900. С.432.
²⁶¹ Носов С.Н. Аполлон Григорьев. М.1990. С.94.
²⁶² Барсуков Н.П. Указ. соч. СПб. 1897. Т.ХI. С.65.
²⁶³ Там же. С.59.
²⁶⁴ Там же. С.88.
²⁶⁵ Максимов С.В. По русской земле. М. 1989. С.407.
²⁶⁶ Там же. С.415.
²⁶⁷ Григорьев А.А. Письма. С.77.
²⁶⁸ Е.Н.Эдельсон. Некролог // Журнал министерства народного просвещения. 1868. Т.СХХХVI. №1. С.120.
²⁶⁹ Энгельгард О. Из воспоминаний // Русское обозрение. 1890. №11. С.107.
²⁷⁰ Оленин А. Мои воспоминания // М.А. Балакирев. Воспоминания. Письма. Л.1962. С.203.
²⁷¹ Максимов С.В. Указ. соч. С.414.
²⁷² Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М. 1987. С.124.
²⁷³ Энгельгард О. Указ. соч. С.84.
²⁷⁴ Барсуков Н.П. Указ. соч. С.110.
²⁷⁵ Григорьев А.А. Воспоминания. С.48.
²⁷⁶ Там же. С.7.
²⁷⁷ Там же. С.17.
²⁷⁸ Максимов С.В. Указ. соч. С.392.
²⁷⁹ Там же. С.395.
²⁸⁰ Григорьев А.А. Письма. С.186.
²⁸¹ Там же. С.172.
²⁸² Там же. С.128.

-
- ²⁸³ Там же. С.185.
²⁸⁴ Москвитянин. 1852. №.16. С.190.
²⁸⁵ Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика. М.1988. С.179.
²⁸⁶ Боборыкин П.Д. Воспоминания. М. 1965. Т.1. С.173.
²⁸⁷ Островский в воспоминаниях современников. М. 1966. С.38.
²⁸⁸ Феокистов Е.М. Глава из воспоминаний // Атеней. 1923. Кн. 3. С.88.
²⁸⁹ Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция “Москвитянина” // Исторический вестник. 1897. №4. С. 238 – 239.
²⁹⁰ Григорьев А.А. Письма. С. 135.
²⁹¹ Там же. С. 154.
²⁹² Там же. С. 48.
²⁹³ Там же. С. 68.
²⁹⁴ Москвитянин. 1851. №9. С. 170.
²⁹⁵ Там же. 1851. №2. С. 216.
²⁹⁶ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений... Т.1. С. 142.
²⁹⁷ Там же. С. 148.
²⁹⁸ Москвитянин. 1851. №2. С. 227.
²⁹⁹ Там же. С. 224.
³⁰⁰ Там же. 1851. №3. С. 396.
³⁰¹ Там же. 1855. №13 – 14. С. 78.
³⁰² Там же. С. 86.
³⁰³ Там же. 1851. №3. С. 397.
³⁰⁴ Там же. С.405; Григорьев А.А. Письма. С.157.
³⁰⁵ Григорьев А.А. Избранные произведения. С. 142.
³⁰⁶ Москвитянин. 1851. №9. С. 175.
³⁰⁷ Там же. 1851. №2. С. 220.
³⁰⁸ Там же. 1851. №.6. С. 258.
³⁰⁹ Григорьев А.А. Избранные произведения. С. 142.
³¹⁰ Москвитянин. 1854. №23. С. 86.
³¹¹ Там же. С. 99.
³¹² Ежегодник петроградских государственных театров. Сезон 1918–1919. Пг. 1920.С. 176.
³¹³ Там же. С.186.
³¹⁴ Барсуков Н.П. Указ. соч. Т.ХIII. СПб. 1899. С. 205.
³¹⁵ Гоголь Н.В. Собрание сочинений. М.1994.Т.3. С. 107.
³¹⁶ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений...Т.1. С. 208.
³¹⁷ Там же. С. 176.
³¹⁸ Москвитянин. 1852. №1. С. 3.
³¹⁹ Там же. 1852. №3. С. 97.
³²⁰ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений...Т.1. С. 173.
³²¹ Москвитянин. 1852. № 4. С. 96.
³²² Анненков П.В. Литературные воспоминания. М.1983. С. 479.
³²³ Москвитянин. 1852. № 1. С. 2.
³²⁴ Анненков П.В. Указ. соч. С. 479.
³²⁵ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений... С. 206.
³²⁶ Григорьев А.А. Избранные произведения. С. 134.
³²⁷ Панаев И.И. Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики // Современник. 1855. Т.52. С. 105.
³²⁸ Глинский Б.Б. Указ. соч.// Исторический вестник. 1897. № 5. С. 572.
³²⁹ Григорьев А.А. Воспоминания. С. 61.
³³⁰ Материалы. С. XIV.

-
- 331 Там же. С. XXI.
332 Сеченов Н.М. Автобиографические записки. М. 1952. С. 91.
333 Григорьев А.А. Избранные произведения. С.190.
334 Он же. Одиссея последнего романтика. М.,1988. С.195.
335 Письма. С.98.
336 Там же. С.169.
337 Там же. С.100.
338 Там же. С.143.
339 Там же. С.180.
340 Там же. С.202.
341 Там же. С.151.
342 Там же.
343 Там же. С.203.
344 Там же. С.189.
345 Время. 1862. №12. С.30.
346 Письма. С.189.
347 Там же. С.184.
348 Там же.
349 Григорьев А. Сочинения. Т.1. С.128.
350 Он же. Воспоминания. М., 1930. С.526.
351 Он же. Избранные произведения. С.366.
352 Письма. С.198.
353 Библиотека для чтения. 1857. №8. С.188.
354 Там же. 1858. №1; С.13,29. Письма. С.196.
355 Письма. С.185.
356 Там же. С.226.
357 Там же. С.220.
358 Там же.
359 Там же.
360 Григорьев А. Воспоминания. М.,1930. С.494.
361 Письма. С.110.
362 Там же. С.217.
363 Там же. С.193.
364 Там же. С.184.
365 Там же. С.161.
366 Там же. С.212.
367 Егоров Б.Ф. Указ. соч.С.152.
368 Буслаев Ф. Мои воспоминания. М.,1897. С.106.
369 Письма. С.217.
370 Там же. С.146.
371 Григорьев А.А. Сочинения. Т.1. С.237.
372 Русское слово. 1859. №5. С.15.
373 Там же.
374 Письма. С.140.
375 Там же. С.143.
376 Там же. С.195.
377 Там же. С.196.
378 Там же.
379 Там же. С.152.
380 Там же. С.187.
381 Там же.

-
- ³⁸² Там же. С.185.
- ³⁸³ Там же. С.181.
- ³⁸⁴ Там же. С.204.
- ³⁸⁵ Зильберштейн И.С. Ап. Григорьев и попытка возродить «Москвитятин» // Литературное наследство. Т.86. 1973. С.568.
- ³⁸⁶ Письма. С.220.
- ³⁸⁷ Эпоха. 1864. №5. С.274.
- ³⁸⁸ Время. 1862. №12. С.13.
- ³⁸⁹ Там же. С.30.
- ³⁹⁰ Эпоха. 1864. №5. С.260.
- ³⁹¹ Время. 1863. №2. С.8; Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С.139.
- ³⁹² Ходанович М.А. Влияние философии Шеллинга на мировоззрение почвенников // Философия Шеллинга в России. СПб., 1998.
- ³⁹³ Там же. С.452.
- ³⁹⁴ Григорьев А.А. Сочинения. Т.2. М., 1990. С.222.
- ³⁹⁵ Библиотека для чтения. 1858. №1. С.37.
- ³⁹⁶ Время. 1862. №11. С.54.
- ³⁹⁷ Там же.
- ³⁹⁸ Время. 1861. №4. С.192.
- ³⁹⁹ Сочинения. Т.2. С.223.
- ⁴⁰⁰ Время. 1862. №1. С.19.
- ⁴⁰¹ Русское слово. 1859. №5. С.2.
- ⁴⁰² Библиотека для чтения. 1858. №1. С.13.
- ⁴⁰³ Там же.
- ⁴⁰⁴ Русское слово. 1859. №2. С.45.
- ⁴⁰⁵ Русское слово. 1859. №5. С.2.
- ⁴⁰⁶ Библиотека для чтения. 1858. №1. С.40.
- ⁴⁰⁷ Русское слово. 1859. №5. С.2.
- ⁴⁰⁸ То же. 1858. №1. С.5.
- ⁴⁰⁹ Сочинения. Т.2. С.214.
- ⁴¹⁰ Библиотека для чтения. 1858. №1. С.15.
- ⁴¹¹ Русское слово. 1859. №2. С.45.
- ⁴¹² Сочинения. Т.2. С.248.
- ⁴¹³ Там же. С.226.
- ⁴¹⁴ Там же. С.241.
- ⁴¹⁵ Москвитянин. 1851. №2. С.216 и сл.
- ⁴¹⁶ Библиотека для чтения. 1855. №4. С.108.
- ⁴¹⁷ Григорьев А.А. Полное собрание сочинений и писем. С.220.
- ⁴¹⁸ Там же.
- ⁴¹⁹ Блок А. Указ. соч. С.V.
- ⁴²⁰ Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1970. С.318.
- ⁴²¹ Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. Томск, 1996. С.39.
- ⁴²² Гершензон М.О. Очерки прошлого. М., 1989. С.297.
- ⁴²³ Славянофильство и современность. Л., 1994. С.56.
- ⁴²⁴ Там же. С.55.
- ⁴²⁵ Киреевский И.В. Указ. соч. С.318.
- ⁴²⁶ Славянофильство и современность. С.67.
- ⁴²⁷ Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965.
- ⁴²⁸ Материалы. С.340.
- ⁴²⁹ Там же. С.341.
- ⁴³⁰ Письма. С.273.

-
- ⁴³¹ Там же. С.221.
- ⁴³² Серова В.А. Воспоминания М., 1914. С.86; Боборыкин П.Д. Указ. соч. С. 34.
- ⁴³³ Григорьев А. Избранные произведения. С.371.
- ⁴³⁴ Там же. С.388.
- ⁴³⁵ Письма. С.226.
- ⁴³⁶ Там же. С.243.
- ⁴³⁷ Там же. С.246.
- ⁴³⁸ Там же. С.275.
- ⁴³⁹ Одоевский в.Ф. Дневник // Литературное наследство. Т.22-24. М.1935. С.121.
- ⁴⁴⁰ Зильберштейн И.С. А.Григорьев и попытка возродить «Москвитянин» // Там же. Т.86. М.1973. С.576.
- ⁴⁴¹ Андреев И.И. К оценке философско-исторической концепции почвенничества // Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. М., 1973; Гуральник У.А. Достоевский, славянофилы и «почвенничество» // Достоевский – художник и мыслитель. М., 1972; Кирпотин В.И. Достоевский в 1860-е годы. М., 1960.
- ⁴⁴² Время. 1861. №11. С.68.
- ⁴⁴³ Там же. С.69.
- ⁴⁴⁴ Григорьев А. Воспоминания. М., 1930. С. 433, 439.
- ⁴⁴⁵ Письма. С.261.
- ⁴⁴⁶ Григорьев А. Воспоминания. М.,1930. С.494.
- ⁴⁴⁷ А.Н. Островский в воспоминаниях современников. М.,1968. С.157.
- ⁴⁴⁸ Время. 1862. №12. С.36.
- ⁴⁴⁹ Там же. 1862. №3. С.31.
- ⁴⁵⁰ Там же. С.46.
- ⁴⁵¹ Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского. СПб. 1883. С.223.
- ⁴⁵² Эпоха. 1864. №5. С.256.
- ⁴⁵³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л.,1979. Т.20. С.135.
- ⁴⁵⁴ Письма. С.250.
- ⁴⁵⁵ Биография, письма и заметки...
- ⁴⁵⁶ Там же. С.207.
- ⁴⁵⁷ Письма. С.270.
- ⁴⁵⁸ Биография, письма и заметки...С.211.
- ⁴⁵⁹ Библиотека для чтения. 1858. №1. С.22.
- ⁴⁶⁰ Русское слово. 1859. №5. С.12.
- ⁴⁶¹ Там же.
- ⁴⁶² Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. М.,1883. Т.3. С.8.
- ⁴⁶³ Walicki A. The Slavophile Controversy.....P.241.
- ⁴⁶⁴ Ibid.
- ⁴⁶⁵ Киреевский И.В. Эстетика и критика. М.,1970. С.79 – 101.
- ⁴⁶⁶ Григорьев А.А. Эстетика и критика. С.126.
- ⁴⁶⁷ Там же. С.127.
- ⁴⁶⁸ Москвитянин. 1854. №8. С.172, 182.
- ⁴⁶⁹ Письма. С.151.
- ⁴⁷⁰ Там же. С.183.
- ⁴⁷¹ Там же. С.168.
- ⁴⁷² Русское Слово.1859. №4. С.31.
- ⁴⁷³ Там же. С.151.
- ⁴⁷⁴ Там же. С. 231.
- ⁴⁷⁵ Там же. С. 238.
- ⁴⁷⁶ Там же.
- ⁴⁷⁷ Там же. С. 159.

-
- 478 Там же. С. 184.
 479 Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2001. №3.
 480 Там же. С. 66.
 481 Письма. С. 183.
 482 Григорьев А.А. Сочинения. Т.2. С. 350.
 483 Письма. С. 193.
 484 Там же. С. 183.
 485 Русское слово. 1859. №2. С. 12.
 486 Григорьев А.А. Сочинения. Т.2. С.69.
 487 Время. 1861. №1. С.17.
 488 Там же. С.10.
 489 Там же. 1862. №10. С.11.
 490 Русское слово. 1859. №1. С.26.
 491 Там же. 1859. №3. С.6.
 492 Время. 1862. №9. С.8.
 493 Там же. С.12.
 494 Русское слово. 1859. №4. С.34.
 495 Там же. 1859. №2. С.58.
 496 Там же. С.26.
 497 Время. 1862. №9. С.13.
 498 Русское слово. 1859. №5. С.39.
 499 Время. 1862. №10. С.62.
 500 Русское слово. №4. С.6.
 501 Там же. 1859. №5. С.19.
 502 Там же. 1859. №4. С.6.
 503 Время. 1862. №9. С.6.
 504 Там же. 1861. №2. С.103.
 505 Русское слово. 1859. №2. С.11.
 506 Время. 1861. №4. С.176.
 507 Там же. 1861. №7. С.37.
 508 Григорьев А.А. Сочинения. Т.2. С.218.
 509 Время. 1861. №4. С.186.
 510 Материалы... №79.
 511 Там же. №64.
 512 Там же. №117.
 513 Переписка Григорьева со Страховым // Ученые записки Тартусского государственного университета. 1965. Вып.167. С.165.
 514 Материалы... №112.
 515 Достоевский. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб. 1883. С.196.
 516 Сладкевич Н.Г. Борьба общественных течений в русской публицистике конца 50-х – начала 60-х годов XIX века. Л.1979. С.24.
 517 Цит. по: Корнилов А.А. Общественное движение при Александре II. М., 1909. С.28.
 518 Кошелев А.И. Записки. М., 1991. С.187.
 519 Чичерин Б. Воспоминания. М., 1993. С.114.
 520 Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве // Современник. 1860. №10. С.257.
 521 Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика. С.449.
 522 Письма. С.208.
 523 Там же. С.235.
 524 Там же. С.251.
 525 Цит. по: Егоров Б.Ф. Указ. соч. С.185.
 526 Письма. С.250.

-
- ⁵²⁷ Там же. С.256.
⁵²⁸ Там же. С.271.
⁵²⁹ Там же. С.273.
⁵³⁰ Там же. С.275.
⁵³¹ Там же. С.268.
⁵³² Там же. С.274.
⁵³³ Там же.
⁵³⁴ Там же. С.276.
⁵³⁵ Там же. С.274.
⁵³⁶ Там же. С.340.
⁵³⁷ Милюков А. Литературные встречи и знакомства. СПб.,1890. С.257.
⁵³⁸ Григорьев А.А. Воспоминания. М.,1930. С.586.

Источники.

1. Аполлон Александрович Григорьев. Материалы к биографии. Пг., 1917.
2. *Григорьев А.А.* Сочинения. М., 1990. Т.1,2.
3. *Григорьев А.А.* Полное собрание сочинений и писем. Пг., 1918. Т.1.
4. *Григорьев А.А.* Сочинения Аполлона Григорьева. СПб., 1876. Т.1.
5. *Григорьев А.А.* Воспоминания. М., 1988.
6. *Григорьев А.А.* Воспоминания. М., 1930.
7. *Григорьев А.А.* Письма. М., 1999.
8. *Григорьев А.А.* Избранные произведения. Л., 1959.
9. *Григорьев А.А.* Одиссея последнего романтика. М., 1988.
10. *Григорьев А.А.* Собрание сочинений. М., 1915 – 1916. Вып. 1 – 10.
11. *Григорьев А.А.* Об элементах драмы в нынешнем русском обществе // Репертуар и пантеон. 1845. № 4, 8.
12. *Григорьев А.А.* Петербургские театры в 1845-м году // Там же. 1846. № 5.
13. *Григорьев А.А.* Александринский театр // Там же. № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14. *Григорьев А.А.* Немецкий спектакль // Там же. № 7.
15. *Григорьев А.А.* Русская драма и русская сцена // Там же. № 9, 10, 11, 12.
16. *Григорьев А.А.* Лючия // Там же. № 9.
17. *Григорьев А.А.* Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // Ведомости санктпетербургской городской полиции. 1846. № 33.
18. *Григорьев А.А.* Новый Емеля, или превращения. Роман А.Ф. Вельтмана // Финский вестник. 1846. Т. VIII.
19. *Григорьев А.А.* Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского // Там же.
20. *Григорьев А.А.* Руководство к познанию законов. Сочинение графа Сперанского // Там же. Т. IX.
21. *Григорьев А.А.* Правила высшего красноречия. Сочинение Михаила Сперанского // Там же.
22. *Григорьев А.А.* О подражании Христу, четыре книги Фомы Кемпийского // Там же.
23. *Григорьев А.А.* Петербургский сборник // Там же.
24. *Григорьев А.А.* Новая библиотека для воспитания, изданная Петром Редкиным // Московский городской листок. 1847. № 33.
25. *Григорьев А.А.* Концерт Сальвини // Там же. № 34.
26. *Григорьев А.А.* Библиографическое известие. Серый армяк, или исполненное обещание. Повесть для детей // Там же. № 36.
27. *Григорьев А.А.* Ответ на замечание С.П. Шевырева // Там же. № 43.
28. *Григорьев А.А.* Обзорение журнальных явлений за январь и февраль // Там же. № 51, 52.
29. *Григорьев А.А.* Обзорение газет за январь 1847 года // Там же. № 52.

30. Григорьев А.А. Сын рыбака – Михаил Васильевич Ломоносов. Повесть для детей // Там же.
31. Григорьев А.А. Гоголь и его последняя книга // Там же. № 56, 62, 63, 64.
32. Григорьев А.А. Концерт г. Миллера // Там же. № 58.
33. Григорьев А.А. Живые картины г. Пино // Там же. № 61.
34. Григорьев А.А. Обзорение журналов за март 1847 года // Там же. № 66, 67, 68, 69, 74, 75.
35. Григорьев А.А. Концерт Берлиоза // Там же. № 76.
36. Григорьев А.А. Музей современной иностранной литературы // Там же. № 80.
37. Григорьев А.А. Петербургский сборник для детей // Там же. № 81.
38. Григорьев А.А. Путешественник (Южный берег Крыма) Н.Сементовского // Там же. № 83.
39. Григорьев А.А. Москва и Петербург. Заметки зеваки // Там же. № 88.
40. Григорьев А.А. Новый руководитель русско-французско-английско-немецкий // Там же.
41. Григорьев А.А. Путеводитель от Москвы до Петербурга и обратно // Там же. № 89.
42. Григорьев А.А. Взгляд на современное положение уголовного судопроизводства, сочинение П.Дегая // Там же. № 94.
43. Григорьев А.А. Руководство для молодых людей, назначающих себя к торговым делам // Там же. № 99.
44. Григорьев А.А. Обзорение журналов за апрель // Там же. № 116.
45. Григорьев А.А. Дон-Жуан, поэма лорда Байрона // Там же. № 117.
46. Григорьев А.А. Обзорение русских журналов // Там же. № 118, 119.
47. Григорьев А.А. Обзорение газет и журналов за апрель // Там же. № 126.
48. Григорьев А.А. Московский литературный и ученый сборник на 1847 год // Там же. № 127, 128, 129, 130, 131.
49. Григорьев А.А. Указание законов Российской империи для купечества // Там же. № 127.
50. Григорьев А.А. Обзорение журналов за май, июнь и июль месяцы // Там же. № 183.
51. Григорьев А.А. Живописная энциклопедия, общепольное чтение // Там же. № 270.
52. Григорьев А.А. Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии. Сочинение А.Бутовского // Там же.
53. Григорьев А.А. Отелло на Песках // Там же. № 272.
54. Григорьев А.А. Приключения, подчерпнутые из моря житейского. Соломея. Соч. А.Ф.Вельмана // Отечественные записки. 1849. № 6.
55. Григорьев А.А. Заметки о Московском театре // Там же. № 7, 8, 9, 11, 12.
56. Григорьев А.А. Русская литература в 1849 году // Там же. 1850. № 1.
57. Григорьев А.А. Стихотворения А.Фета // Там же. № 2.
58. Григорьев А.А. Заметки о Московском театре // Там же. № 3, 4, 6, 9.

59. Григорьев А.А. Причуды. Комедия П.Н. Меншикова // Москвитянин. 1850. № 17.
60. Григорьев А.А. Современник в 1850 году // Там же. 1851. № 2, 3.
61. Григорьев А.А. Пантеон и репертуар русской сцены 1850 год // Там же. № 4.
62. Григорьев А.А. Современник // Там же. № 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24.
63. Григорьев А.А. Жизнь и смерть короля Ричарда третьего. Драма В. Шекспира // Там же.
64. Григорьев А.А. Библиотека для чтения 1850 год // Там же. № 6.
65. Григорьев А.А. Пантеон и репертуар русской сцены // Там же. № 6, 11, 14, 16, 19, 20, 23.
66. Григорьев А.А. Галерея польских писателей. Будник, повесть И. Крашевского // Там же. № 7.
67. Григорьев А.А. Сотрудники, или чужим добром не наживешься. Пословица В. Соллогуба // Там же.
68. Григорьев А.А. Комета, учено-литературный альманах, изданный Н. Щепкиным // Там же. № 9, 10.
69. Григорьев А.А. Первое апреля. Е. Тур. Антонина. Е. Тур // Там же. № 11.
70. Григорьев А.А. Разговор на большой дороге И.С. Тургенева // Там же.
71. Григорьев А.А. Сцены из обыкновенной жизни. Сочинение Ф. Корфа // Там же. № 12.
72. Григорьев А.А. Летопись московского театра // Там же. № 13, 15, 18, 21.
73. Григорьев А.А. Легенда о Монтрозе. Исторический роман Вальтера Скотта // Там же. № 14.
74. Григорьев А.А. Галерея польских писателей. Осторожней с огнем, повесть И. Крашевского // Там же. № 19, 20.
75. Григорьев А.А. Ярмарка тщеславия Теккерея // Там же.
76. Григорьев А.А. Статья Проспера Мериме о Гоголе // Там же. № 24.
77. Григорьев А.А. Предуведомление к переводу «В. Местера» Гете // Там же. 1852. № 1.
78. Григорьев А.А. Библиотека для чтения // Там же. № 3, 5, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 24.
79. Григорьев А.А. Пантеон // Там же. № 6, 9, 16, 17, 21.
80. Григорьев А.А. Летопись Московского театра // Там же. № 8.
81. Григорьев А.А. Современные лирики, романисты и драматурги. Альфред де Мюссе // Там же. № 12.
82. Григорьев А.А. Драмы А. де Мюссе // Там же. № 13.
83. Григорьев А.А. Повести А. де Мюссе // Там же. № 14.
84. Григорьев А.А. Галерея польских писателей. Коллокация, повесть г. Корженевского // Там же. № 17.
85. Григорьев А.А. Летопись московского театра // Там же. № 18, 19.
86. Григорьев А.А. Обзор иностранной журналистики // Там же. № 22.
87. Григорьев А.А. Библиотека для чтения // Там же. 1853. № 3, 5, 7, 12.

88. Григорьев А.А. Некролог. И.Т. Кокорев // Там же. № 12.
89. Григорьев А.А. Пантеон. Взгляд на прошлый 1853 год журнала // Там же. № 5.
90. Григорьев А.А. Древние грамоты и акты Рязанского края, собранные А.Н. Пискаревым // Там же. № 6.
91. Григорьев А.А. Взгляд на «Библиотеку для чтения» в прошлом году // Там же.
92. Григорьев А.А. Библиотека для чтения // Там же. № 8, 17.
93. Григорьев А.А. Проспер Мериме // Там же. № 11.
94. Григорьев А.А. Русские народные песни // Там же. № 15.
95. Григорьев А.А. Историческое значение царствования Алексея Михайловича. Сочинение П. Медовикова // Там же. № 23.
96. Григорьев А.А. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. Статья I // Там же. 1855. № 3.
97. Григорьев А.А. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. Статья II // Ежегодник петроградских гос. театров. Сезон 1918 – 1919. Пг., 1922.
98. Григорьев А.А. Библиотека для чтения // Москвитянин. 1855. № 3, 4.
99. Григорьев А.А. Зурна. Закавказский альманах // Там же. № 13, 14.
100. Григорьев А.А. Замечания об отношении современной критики к искусству // Там же.
101. Григорьев А.А. Обзорение наличных литературных деятелей // Там же. № 15, 16.
102. Григорьев А.А. О правде и искренности в искусстве // Русская беседа. 1856. № 3.
103. Григорьев А.А. Письмо к А.В. Дружинину по поводу комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» и ее перевода // Библиотека для чтения. 1857. № 8.
104. Григорьев А.А. Примечания к переводу той же комедии // Там же.
105. Григорьев А.А. Взгляд на историю России, соч. С. Соловьева // Русское слово. 1859. № 1.
106. Григорьев А.А. Народное чтение. История Рязанского княжества, соч. Д. Иловайского // Там же.
107. Григорьев А.А. От редакции // Там же.
108. Григорьев А.А. Утро. Литературный сборник // Там же. № 2.
109. Григорьев А.А. Собрание сочинений Сенковского // Там же. № 3.
110. Григорьев А.А. Библиографический перечень // Там же. № 4.
111. Григорьев А.А. Несколько слов о законах и терминах органической критики // Там же. № 5.
112. Григорьев А.А. Генрих Гейне // Там же.
113. Григорьев А.А. Московское обозрение // Там же. № 8.
114. Григорьев А.А. Русский раскол старообрядства А. Щапова // Там же.

115. Григорьев А.А. Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах // Сын отечества. 1860. № 6, 7.
116. Григорьев А.А. Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны // Отечественные записки. 1860. № 4, 5.
117. Григорьев А.А. Несколько заметок вместо предисловия к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» // Драматический сборник. 1860. № 4.
118. Григорьев А.А. Гаазе в роли Гамлета // Там же.
119. Григорьев А.А. Альфред де Мюссе // Там же. № 5.
120. Григорьев А.А. Об издании журнала «Драматический сборник» в 1861 году // Там же. № 9.
121. Григорьев А.А. Литература и нравственность // Светоч. 1861. № 1.
122. Григорьев А.А. Несколько замечаний о значении и устройстве долговых отделений // Северная пчела. 1861. № 92.
123. Григорьев А.А. Народность и литература // Время. 1861. № 2.
124. Григорьев А.А. Гаванские чиновники Ивана Генслера // Там же.
125. Григорьев А.А. Несколько слов о Ристори // Там же.
126. Григорьев А.А. Западничество в русской литературе. Причины его происхождения и силы // Там же. № 3.
127. Григорьев А.А. Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики // Там же.
128. Григорьев А.А. Явления нашей литературы, пропущенные нашей критикой // Там же.
129. Григорьев А.А. О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности // Там же.
130. Григорьев А.А. Тарас Шевченко // Там же. № 4.
131. Григорьев А.А. Псковитянка, драма Л.Мея // Там же.
132. Григорьев А.А. Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта // Там же.
133. Григорьев А.А. Белинский и отрицательный взгляд в литературе // Там же.
134. Григорьев А.А. Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия // Там же. № 5.
135. Григорьев А.А. Стихотворения А.С.Хомякова // Там же.
136. Григорьев А.А. Лев Толстой и его сочинения // Там же. 1862. № 1, 9.
137. Григорьев А.А. Стихотворения Н.Некрасова // Там же. № 7.
138. Григорьев А.А. Нигилизм в искусстве // Там же. № 8.
139. Григорьев А.А. Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены // Там же. № 9, 10, 11, 12.
140. Григорьев А.А. Лермонтов и его направление // Там же. № 10, 11, 12.
141. Григорьев А.А. Князь Серебряный Алексея Толстого // Там же. № 12.
142. Григорьев А.А. Северно-русские народоправства во времена удельно-вечевого уклада, соч. Николая Костомарова // Там же. 1863. № 1.

143. Григорьев А.А. Наши литературные направления с 1848 // Там же. № 2.
144. Григорьев А.А. Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены // Там же.
145. Григорьев А.А. Вступительное слово о фальшивых нотах в печати и жизни // Якорь. 1863. № 1.
146. Григорьев А.А. Безвыходное положение // Там же.
147. Григорьев А.А. Ветер переменился // Там же. № 2.
148. Григорьев А.А. По поводу одного мало замечаемого современною критикою явления // Там же.
149. Григорьев А.А. Наша пристань // Там же. № 3.
150. Григорьев А.А. Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли // Там же.
151. Григорьев А.А. Журнальный мир и его явления // Там же. № 6, 10, 12, 14.
152. Григорьев А.А. Садовский в Петербурге // Там же. № 6, 9.
153. Григорьев А.А. Теории и жизнь // Там же. № 7.
154. Григорьев А.А. Спектакль 6 мая. П.Васильев в «Грех да беда на кого не живет» // Там же. № 10.
155. Григорьев А.А. Новая русская опера на нашей сцене // Там же.
156. Григорьев А.А. По поводу спектакля 10 мая «Бедность не порок» // Там же. № 11.
157. Григорьев А.А. «Юдифь», опера в пяти актах А.Н.Серова // Там же. № 12.
158. Григорьев А.А. О реализме в искусстве и литературе // Там же. № 13.
159. Григорьев А.А. О Писемском и его значении в нашей литературе // Там же. № 18.
160. Григорьев А.А. Взбаламученное море. Роман А.Ф.Писемского // Там же. № 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28.
161. Григорьев А.А. Преобразования в театральном мире // Там же. № 19.
162. Григорьев А.А. Судороги мракобесия // Там же. № 22.
163. Григорьев А.А. Несколько слов о театральных заслуженностях // Там же.
164. Григорьев А.А. Русская оперная труппа // Там же. № 23, 24.
165. Григорьев А.А. «Подвиги назидательной головешки» // Там же. № 24.
166. Григорьев А.А. Сказания о подвигах «назидательной головешки» // Там же. № 25, 29.
167. Григорьев А.А. Наша драматическая труппа // Там же. № 25, 28, 29, 30.
168. Григорьев А.А. Хроника спектаклей // Там же. № 25, 26, 28, 30, 33, 35, 41.
169. Григорьев А.А. Театральные новости // Там же. № 25, 29.
170. Григорьев А.А. Еще несколько слов о русской опере // Там же. № 27.
171. Григорьев А.А. Г-жа Владимирова в роли Софьи Павловны // Там же.
172. Григорьев А.А. На полдороге // Там же. № 29.

173. Григорьев А.А. Критическая заметка // Там же. № 30.
 174. Григорьев А.А. «Доходное место» Островского и его сценическое представление // Там же. № 31, 32.
 175. Григорьев А.А. Несколько беглых заметок о выставке // Там же. № 35.
 176. Григорьев А.А. Две сцены // Там же. № 41.
 177. Григорьев А.А. «Воспитанница» Островского на петербургской сцене // Там же. № 42.
 178. Григорьев А.А. О борзописании ради печатного листа и о скачке мысли, а равно о малой пользе и великом вреде, принесенных словоизвержением словесности российской // Там же. 1864. № 1.
 179. Григорьев А.А. Хроника спектаклей // Там же. № 1, 2.
 180. Григорьев А.А. От редакции // Оса. 1864. № 1.
 181. Григорьев А.А. Театральные слухи и вести // Там же. № 2.
 182. Григорьев А.А. От редакции // Там же. № 11.
 183. Григорьев А.А. В ответ некоему читателю, спрашивавшему меня // Там же. № 18.
 184. Григорьев А.А. Новость // Там же. № 19.
 185. Григорьев А.А. Нечто о вине, водке и опьянении // Там же. № 22.
 186. Григорьев А.А. От редакции «Осы» к ревнителям общественного благосостояния // Там же. № 23.
 187. Григорьев А.А. Литературные благовония // Там же. № 24.
 188. Григорьев А.А. Всероссийский bon-mot // Там же. № 26.
 189. Григорьев А.А. Попрыщин на своем поприще // Там же.
 190. Григорьев А.А. «Оса» к своим читателям // Там же. № 28.
 191. Григорьев А.А. Сочинителю Гейне из Тамбова // Там же. № 29.
 192. Григорьев А.А. Русский театр // Эпоха. 1864. № 1,2.
 193. Григорьев А.А. Русский театр в Петербурге // Там же. № 3, 6.
 194. Григорьев А.А. Парадоксы органической критики // Там же. № 5, 6.
 195. Григорьев А.А. Отживающие в литературе явления // Там же. № 7.
 196. Григорьев А.А. Голос старого критика// Там же.
-
197. Аксаков И.С. Письма к родным. М., 1994.
 198. Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1983.
 199. Белинский В.Г. Русская литература в 1846 году // Современник. 1847. №1.
 200. Белинский В.Г. Стихотворения Аполлона Григорьева // Отечественные записки. 1846. № 4.
 201. Берг Н.В. Московские воспоминания // Русская старина. 1884. № 10.
 202. Библиографическая хроника // Финский вестник. 1847. Т.XVII. С.3 –12.

203. Библиография. Стихотворения А. Григорьева // Русский инвалид. 1846. № 110. С. 433 - 434.
204. Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского. СПб., 1883.
205. *Боборыкин П.Д.* Аполлон Григорьев // Григорьев А.А. Воспоминания М., 1930.
206. *Боборыкин П.Д.* Воспоминания. М., 1965. Т. 1.
207. *Булгарин Ф.В.* Заметки, выписки и корреспонденция // Северная пчела. 1853. № 39.
208. *Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897.
209. *Быков П.В.* Силуэты далекого прошлого. Л., 1930.
210. *В.К.* Григорьев и его мнения о космополитизме // Там же. № 118.
211. *В.К.* Наши домашние интересы. Статья г. Григорьева во «Времени» (о Шевченко) // Русский инвалид. 1861. № 110
212. *В.К.* Фельетон. По поводу статьи «О постепенном и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности» // Русский инвалид. 1861. № 95.
213. *Галахов А.* Письмо к редактору // Московский городской листок. 1847. № 65.
214. *Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999.
215. *Горбунов И.Ф.* Отрывки из воспоминаний // Горбунов И.Ф. Сочинения. СПб., 1907. Т.3.
216. *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания. М., 1987.
217. *Добролюбов Н.А.* Луч света в темном царстве // Современник. 1860. № 11.
218. *Добролюбов Н.А.* О допотопном значении Лажечникова (исследование г. Ап. Григорьева) // Современник. 1859. № 4.
219. *Добролюбов Н.А.* Темное царство // Современник. 1859. № 7.
220. *Достоевский Ф.М.* Два лагеря теоретиков // Время. 1862. № 2.
221. *Достоевский Ф.М.* Зимние заметки о летних впечатлениях // Время. 1863. № 1, 2.
222. *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л., 1978. Т. 18.
223. *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 год // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л., 1980. Т. 20.
224. *Достоевский Ф.М.* Рассказы Успенского // Время. 1861. № 12.
225. *Достоевский Ф.М.* Ряд статей о русской литературе // Время. 1861. № 1, 2, 7, 8, 11.
226. *Достоевский Ф.М.* Свисток и Русский вестник // Время. 1861. № 3.
227. *Дружинин А.В.* Письма иногороднего подписчика // Дружинин А.В. Сочинения. СПб. 1865. Т. VI.
228. *Дружинин А.В.* Повести. Дневник. М., 1986.
229. Журналистика // Библиотека для чтения. 1854. № 8.

230. Журналистика. "Альфред де Мюссе" г. Григорьева // Отечественные записки. 1852. № 9.
231. Журналистика. Русские народные песни, критический опыт г. А.Григорьева // Отечественные записки. 1854. № 9.
232. Журналистика. Стихи «Искусство и Правда» г. А.Григорьева // Отечественные записки. 1854. № 4.
233. Заметка о Григорьеве // Финский вестник. 1846. Т.IX. С. 45 – 49.
234. Заметки о Григорьеве // Репертуар и пантеон. 1845. Т.12. С.88.
235. Заметки о Григорьеве // Финский вестник. 1845. Т.VII. С.58-60.
236. *Зотов В.Р.* Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. № 1, 2, 3.
237. *Кавелин К.Д.* Воспоминания // Кавелин К.Д. Собрание сочинений. Спб., 1899. Т.3.
238. *Киреевский И.В.* Эстетика и критика. М., 1979.
239. *Кошелев А.И.* Записки. М., 1991.
240. Критика. Русская литература в 1852 году // Отечественные записки. 1853. № 1.
241. *Леонидов Л.Л.* Записки // Русская старина. 1886. № 6.
242. *Леонтьев К.Н.* Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика. М., 1988.
243. Литературное наследие: «Душевно Ваш. Аполлон...» Из переписки Григорьевых // Ивановский архив. Иваново, 1998. № 2.
244. Литературные вести // Искра. 1860. № 35.
245. Литературный ералаш. Досуги Кузьмы Пруткова. Элегия-ода-сатира А.Григорьева // Современник. 1854. № 4.
246. *Максимов С.В.* А.Н.Островский по моим воспоминаниям // По Русской земле. М., 1989.
247. Материалы о Григорьеве из архива Н. Страхова // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1964. Вып. 139.
248. *Милюков А.* Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
249. *Нильский А.А.* Воспоминания // Исторический вестник. 1894. № 3.
250. Новые материалы о Григорьеве (из архива Ивановской области) // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1975. Вып. 369.
251. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене г. Григорьева. Наши ожидания от этих статей; что должно сделать для определения нашей народности? // Отечественные записки. 1855. № 5.
252. Обзор литературных журналов. О трудах г. А.А. Григорьева // Сын отечества. 1857. № 34.
253. *Одоевский В.Ф.* Дневник // Литературное наследство. 1935. № 22 – 24.
254. *Оленин А.* Мои воспоминания // М.А. Балакирев. Воспоминания. Письма. Л., 1962.
255. *Орлов Н.М.* Записка // Русские Пропилеи. М., 1915. Т.1
256. А.Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.

257. *Павлов И.В.* Письмо к Н.Н.Страхову // Ученые записки Тартусского государственного университета. 1963. Вып. 139.
258. *Панаев И.И.* Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики // Современник. 1852. № 2.
259. *Панаев И.И.* Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики. Критика А.А. Григорьева // Современник. 1855. № 7.
260. *Панаева А.Я.* Воспоминания. М., 1956.
261. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2, 3.
262. Петербургские письма // Литературная газета. 1847. № 15.
263. *Писарев Д.И.* Прогулка по садам российской словесности // Русское слово. 1865. № 3.
264. Письма В.Боткина к А.Дружинину // XXV лет. СПб., 1884.
265. *Плетнев П.А.* Библиография // Современник. 1846. Т. 4. С. 229 – 230.
266. *Плетнев П.А.* Стихотворения Аполлона Григорьева // Современник. 1846. № 4.
267. *Полонский Я.П.* Воспоминания // Полонский Я.П. Сочинения. М., 1986. Т.2.
268. Рецензия на стихотворения Григорьева // Библиотека для чтения. 1846. Т.75. С. 27-30.
269. Рецензия на стихотворения Григорьева // Иллюстрация. 1846. № 11. С.175.
270. Розанова Л.А. К биографии Аполлона Григорьева (из материалов архива Ивановской области) // Ученые записки Ивановского педагогического института. Иваново, 1973. Т. 115.
271. Русская литература. Вопрос о народности. Ответ г. А. Григорьеву // Отечественные записки. 1860. № 4.
272. *Семевский М.И.* Встречи в Петербурге // Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
273. *Серов А.* Очерки и заметки // Русская старина. 1878. № 1.
274. *Серова В.А.* Воспоминания. М., 1914.
275. *Сеченов Н.М.* Автобиографические записки. М., 1952.
276. *Славин А.* Ободрение А.А.Григорьеву // Репертуар и пантеон. 1846. № 7. С. 102 – 103.
277. *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно и для других // Соловьев С.М. Избранные труды. М., 1983.
278. *Стахович А.А.* Ключки воспоминаний М., 1904.
279. *Стахович М.* Антикритика. Русские песни, критический опыт А.Григорьева // Москвитянин. 1855. №6.
280. *Страхов Н.Н.* Воспоминания о Ф.М.Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского. СПб., 1883.
281. *Страхов Н.Н.* Воспоминания об Аполлоне Григорьеве (с примечаниями Ф.М. Достоевского) // Эпоха. 1864. № 9.

282. *Страхов Н.Н.* Еще о петербургской литературе // *Время*. 1861. № 6.
283. *Страхов Н.Н.* Замечания на ответ г. Лаврова // *Время*. 1861. № 2.
284. *Страхов Н.Н.* Н.А. Добролюбов // *Время*. 1862. № 3.
285. *Страхов Н.Н.* Несколько слов о г. Писемском по поводу его сочинений // *Время*. 1861. № 7.
286. *Страхов Н.Н.* Нечто о петербургской литературе // *Время*. 1861. № 4.
287. *Страхов Н.Н.* Нечто о полемике // *Время*. № 8.
288. *Страхов Н.Н.* Нечто об авторитетах // *Время*. 1862. № 12.
289. *Страхов Н.Н.* Новая школа // *Время*. 1863. № 1.
290. *Страхов Н.Н.* Новое художественное произведение и наша критика // *Время*. 1863. № 2.
291. *Страхов Н.Н.* Об индюшках и Гегеле // *Время*. 1861. № 9.
292. *Страхов Н.Н.* Пример апатии // *Время*. 1862. № 1.
293. *Страхов Н.Н.* Роковой вопрос // *Время*. 1863. № 4.
294. *Студитский А.* Библиография // *Москвитянин*. 1846. № 4. С. 175 – 176.
295. *Студитский А.* Русские литературные журналы за январь 1846 года // *Москвитянин*. 1846. № 2. С. 215-217.
296. Фельетон. Русская журналистика. Критические воззрения г. А. Григорьева // *СПб. Ведомости*. 1853. № 21.
297. *Феоктистов Е.М.* Глава из воспоминаний // *Атеней*. 1924. Кн. 3.
298. *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893.
299. *Хомяков А.С.* Сочинения. М., 1900. Т. VIII. Письма.
300. *Чернышевский Н.Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1968.
301. *Чичерин Б.Н.* Воспоминания. М., 1993.
302. *Энгельгардт С.В.* Из воспоминаний // *Русское обозрение*. 1890. Т. 6. № 1.
303. *Я.Я.Я.* Русская литература, стихотворения Аполлона Григорьева // *Северная пчела*. 1846. № 114. С. 455.

Литература.

1. *Авдеева Л.Р.* О специфике философского мирозерцания А. Григорьева // *Вестник МГУ*. 1987. Серия 7. № 3.
2. *Авдеева Л.Р.* Русские мыслители: А. Григорьев, Н. Страхов, Н. Данилевский. М., 1992.
3. *Аверкиев Д. А.А.* Григорьев // *Эпоха*. 1864. № 8.
4. *Аверкиев Д.В.* Дневник писателя. СПб. 1885.
5. *Аверкиев Д.В.* Дневник писателя. СПб. 1886.
6. *Авсеенко В.Г.* Блуждания русской мысли // *Русский вестник*. 1876. № 10.

7. *Азизов Д.Л.* Теория романтизма в эстетике Григорьева // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. Л., 1975. № 5.
8. *Азизов Д.Л.* Философско-эстетическая концепция А. Григорьева // Романтизм в русской и советской литературе. Казань, 1973. Вып. IV.
9. *Айхенвальд Ю.* Стихотворения Аполлона Григорьева // Речь. 1915. № 316.
10. *Аксаков И.С.* Некролог А.А. Григорьева // День. 1864. № 40.
11. *Александров А.* Критические заметки. Аполлон Григорьев // Московские ведомости. 1914. № 236, 242.
12. *Александров А.* Критические заметки. Основания органической критики // Московские ведомости. 1915. № 290.
13. *Андреев И.И.* К оценке философско-исторической концепции почвенничества // Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. М., 1973.
14. *Андреев И.И.* О некоторых чертах мировоззрения А. Григорьева // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1972.
15. *Андреев И.И.* Принципы почвеннической эстетики (А. Григорьев и Н. Страхов) // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1979. Вып. 7.
16. *Андреев И.И.* Социально-философская концепция почвенничества. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1973.
17. *Аннекштейн А.* Шарль Фурье, его личность, учение и социальная система. М., 1922.
18. *Антонова Г.Н.* Н. Чернышевский и А. Григорьев в 1850-е годы // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971. Вып. 6.
19. *Ануфриев Г.Ф.* А. Григорьев о творчестве Ф. Достоевского // Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов. Л., 1974.
20. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888-1910. Кн. X – XXII.
21. *Бартенев П.И.* Предисловие и примечания к трем письмам Григорьева к Н.В. Гоголю. По поводу его «Переписки с друзьями» // Русский архив. 1907. № 10.
22. *Белов А.В.* «Жизнь» и «теория» у Ап. Григорьева // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1997. № 1.
23. *Беляев М.Д.* Ап. Григорьев. Путеводитель и биография в залах Пушкинского дома. Пг., 1922.
24. *Бем А.А.* Оценка Ап. Григорьева в прошлом и настоящем // Русский исторический журнал. 1918. № 5.
25. *Бердяев Н.А.* Алексей Степанович Хомяков. Томск, 1996.
26. *Берлинер Г.О.* Литературные противники Н.А. Добролюбова // Литературное наследство. Т. 35-36.
27. *Берлинер Г.О.* Н.Г. Чернышевский и его литературные враги. М., 1930.
28. *Бестужев-Рюмин К.Н.* Теория культурно-исторических типов // Русский Вестник. 1888. № 5.

29. Блок А.А. Судьба Аполлона Григорьева // Григорьев А. Стихотворения. М., 1915.
30. Боборыкин П.Д. Некролог. А. Григорьев // Библиотека для чтения. 1864. № 8.
31. Бойко М. Метаморфозы романтического сознания в «органической критике» А. Григорьева // Вопросы искусствознания. 1997. № 1.
32. Бухштаб В.Я. Гимны Аполлона Григорьева // Бухштаб В.Я. Библиографические разыскания. М., 1966.
33. Вайман С.Т. «К сердцу сердцем...» - об «органической критике» А. Григорьева // Вопросы литературы. 1988. № 2.
34. Васильев Н. Поэт неудачник // Московские ведомости. 1915. № 283.
35. Введенский А. Аполлон Григорьев как критик // Нива. 1894. № 39.
36. Венгеров С.А. Молодая редакция «Москвитянина» // Вестник Европы. 1886. № 2.
37. Ветринский Ч. Аполлон Григорьев // Вестник Европы. 1914. № 9.
38. Ветринский Ч. Аполлон Григорьев // Нижегородский листок. 1909. 25 сентября.
39. Виноградов А.Е. Российское масонство после правительственного запрета 1822г. Автореф. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1992.
40. Виттакер Р. Аполлон Григорьев – последний русский романтик. СПб., 2000.
41. Володина Н. Лермонтов в критике А. Григорьева // Научные труды Тюменского педагогического института. Тюмень, 1977. Сб. 53.
42. Володина Н. Проблема национального характера в понимании Л. Толстого и А. Григорьева (опыт реконструкции полемики) // Эстетические концепции русских и зарубежных писателей. Красноярск, 1996.
43. Волынский А. Литературные заметки. Аполлон Григорьев // Северный вестник. 1895. № 11.
44. Волынский А. Русские критики. СПб., 1896.
45. Волынский А.Л. А. Григорьев. Теория и законы органической критики // Северный Вестник. 1895. № 11.
46. Гегель. Философия права. М., 1978.
47. Гершензон М.О. Очерки прошлого. М., 1989.
48. Гиппиус В. Аполлон Григорьев // День. 1914. № 260.
49. Гиппиус З. Судьба Аполлона Григорьева (по поводу статьи А. Блока) // Октябрь. 1992. № 8.
50. Глебов В.Д. Аполлон Григорьев: концепция историко-литературного процесса 1830-х – 1860-х годов. М., 1996.
51. Глебов В.Д. Вопросы реализма в историко-литературной концепции А. Григорьева // Русская литература XIX века: метод и стиль. Бишкек, 1991.

52. *Глебов В.Д.* Вопросы реализма в историко-литературной концепции А. Григорьева. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1978.
53. *Глебов В.Д.* Вопросы романтизма в эстетике А. Григорьева // *Метод и мастерство*. Вологда, 1970. Вып. 1.
54. *Глебов В.Д.* Историко-литературная концепция А. Григорьева // *Труды Пржевальского педагогического института. Серия гуманитарных наук. Сборник соискателей*. Фрунзе, 1972. Вып. 1.
55. *Глебов В.Д.* Лермонтов и его направление в оценке А. Григорьева // *Проблемы литературной преемственности в свете марксистско-ленинского сравнительного литературоведения*. Фрунзе, 1987.
56. *Глебов В.Д.* Принцип историзма в понимании А. Григорьева // *Русско-зарубежные литературные связи*. Фрунзе, 1988.
57. *Глебов В.Д.* Проблема типа и типическое в эстетике А. Григорьева // *Труды Пржевальского педагогического института*. Фрунзе, 1970. Т. 16.
58. *Глебов В.Д.* Русская литература XVIII века в восприятии А. Григорьева // *Ученые записки Киргизского университета. Филологический факультет*. Фрунзе, 1975. Вып. 21.
59. *Глебов В.Д.* Типология русского реализма в критических статьях А. Григорьева 1860-х годов // *Типологический анализ литературных произведений*. Кемерово, 1982.
60. *Глебов В.Д.* Учения В.Г. Белинского и А.А. Григорьева о гении // *Труды Пржевальского педагогического института. Серия гуманитарных наук. Кафедра русской литературы*. Пржевальск, 1972. Т. 17. Вып. 1.
61. *Глинский В.В.* Раздвоившаяся редакция «Москвитянина» // *Исторический вестник*. 1897. № 4,5.
62. *Годжаев М.Г.* Историко-литературный процесс первой половины XIX века в свете идеала А. Григорьева // *Там же*. 1975. № 1.
63. *Годжаев М.Г.* Проблема идеала в эстетике А. Григорьева // *Ученые записки Азербайджанского педагогического института языков*. Баку, 1973. Серия XII. № 2.
64. *Годжаев М.Г.* Проблема идеала в эстетике А. Григорьева. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Баку, 1975.
65. *Годжаев М.Г.* Проблема романтизма и реализма в эстетике А. Григорьева // *Там же*. № 3.
66. *Гольцев В.* О художниках и критиках. М., 1899.
67. *Гольцев В.А.* Памяти А.А. Григорьева // *Сборник Общества любителей российской словесности*. М., 1895.
68. *Горбанев Н.А.* А. Григорьев и Н. Страхов // *Научные доклады высшей школы. Филологические науки*. 1988. № 1.
69. А.А. Григорьев // *Артист*. 1889. № 10.
70. А.А. Григорьев // *Новое время*. 1894. № 6672.

71. *Григорьев А. (сын)* Письмо в редакцию // Новое время. 1889. № 4740.
72. *Григорьев А. (сын)* Одинокый критик // Книжки Недели. 1895. № 8, 9.
73. *Григорьев В.А. (внук)* Потревоженные тени // Григорьев А.А. Полное собрание сочинений и писем. Пг., 1918. Т. 1.
74. *Гродская Е.* Взаимодействие общественных и эстетических взглядов Достоевского и Григорьева // К 60-летию профессора А.И. Журавлевой. М., 1998.
75. *Громов П.П.* Аполлон Григорьев // Григорьев А. Избранные произведения. М., 1959.
76. *Гроссман Л.* Основатель новой критики // Русская мысль. 1914. № 11.
77. *Гуральник У.А.* Аполлон Григорьев – критик // История русской критики. М., 1958. Т. 1
78. *Гуральник У.А.* Достоевский, славянофилы и «почвенничество» // Достоевский – художник и мыслитель. М., 1972.
79. *Дементьев Л.Ю.* Очерки по истории русской журналистики 1840-х – 1850-х годов. М., 1950.
80. *Довлатова-Мечик А.* «Гамлетовская ситуация». Аполлон Григорьев // Русская филология. Тарту, 1996. Сб. 7.
81. *Долгов Н.* Аполлон Григорьев // Речь. 1914. № 2407.
82. *Долгов Н.* Аполлон Григорьев и театр // Русская мысль. 1914. № 11.
83. *Егоров Б.Ф.* Аполлон Григорьев – критик // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1960, 1961. Вып. 98, 104.
84. *Егоров Б.Ф.* Аполлон Григорьев о Пушкине // Пушкинский сборник. Псков, 1968.
85. *Егоров Б.Ф.* Аполлон Григорьев. М., 2000.
86. *Егоров Б.Ф.* Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982.
87. *Егоров Б.Ф.* Григорьев в Петербурге // Semiotics and the history of culture. Ohio. 1988.
88. *Егоров Б.Ф. Н. Добролюбов о «Москвитянине»* // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1966. Вып. 184.
89. *Егоров Б.Ф.* О мастерстве литературной критики. Л., 1980.
90. *Емельянов Л.И.* Герои Л. Толстого в историко-литературной концепции А. Григорьева // Л.Н. Толстой и русская общественная мысль. Л., 1979.
91. *Жаков К.* Три идеи в русской философии // Северный гусляр. 1914. 6.
92. *Журавлев А.И.* Шиллеровские мотивы в театральной эстетике А. Григорьева // Вестник МГУ. 1997. Серия 9. № 3.
93. *Журавлева А.* «Органическая критика» А. Григорьева // Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980.
94. *Заметка о заседании в Обществе имени А.Н. Островского – доклад, посвященный А.А. Григорьеву* // Речь. 1914. № 257.
95. *Замотин И.И.* Сороковые и шестидесятые годы. СПб, 1895.

96. *Захаров А.К.* К вопросу об исторических взглядах А. Григорьева // Вопросы историографии всеобщей истории. Томск, 1986.
97. *Зельдович М.Г.* Н. Чернышевский и А. Григорьев (из творческой истории «Очерков гоголевского периода») // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1961. № 3.
98. *Зельдович М.Г.* Поэтика годовых обзоров Ап. Григорьева // Русская литературная критика: Исторический и теоретический подходы. Саратов, 1991. Вып.2.
99. *Зиганишина Н.Д.* А. Григорьев и Ф. Достоевский (трансформация романтической коллизии) // Типологический анализ литературных произведений. Кемерово, 1982.
100. *Зильберштейн И.С.* А. Григорьев и попытка возродить «Москвитянин» // Литературное наследство. Т. 86.
101. *Зубков М.Н.* Ап. Григорьев. Поэмы 40-х годов // Ученые записки Московского педагогического института. М., 1961. Т. 160.
102. *Зубков М.Н.* Две последние поэмы Аполлона Григорьева // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1963. № 4.
103. *Иванов И.* История русской критики // Мир Божий. 1898. № 7, 10.
104. *Иванов-Разумник Р.И.* Аполлон Григорьев // Григорьев А. Воспоминания. М., 1930
105. *Иванов-Разумник Р.И.* История русской общественной мысли. СПб., 1918.
106. *Каллаш В.* Аполлон Григорьев о Петрашевском // Голос минувшего. 1914. № 2.
107. *Карташева В.* Вопросы романтизма в русской критике 1850-х годов (суждения А. Григорьева) // Ученые записки Казанского университета. Казань, 1969. Т. 124, Кн. 4, Вып. 5.
108. *Кастелянц Б.О.* Стихотворения А. Григорьева // Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1966.
109. *Керимова Н.М.* Критический метод А. Григорьева // Роман и повесть в классической и современной литературе. Махачкала, 1992.
110. *Кирпотин В.И.* Ф. Достоевский в 1860-е годы. М., 1960.
111. *Княжнин В.* Аполлон Григорьев – поэт // Русская мысль. 1916. № 5.
112. *Княжнин В.* Аполлон Григорьев и цыганы // Столица и усадьба. 1917. № 73.
113. *Княжнин В.* О нашем современнике – Аполлоне Александровиче Григорьеве // Любовь к трем апельсинам. 1914. № 4,5.
114. *Княжнин В.Н.* Аполлон Григорьев // Литературная мысль. 1923. № 2.
115. *Ковалев О.А.* О литературно-эстетической позиции А. Григорьева // Поэтика жанра. Барнаул, 1995.
116. *Колесник И.И.* Исторические взгляды Григорьева (по поводу критики «Истории России с древнейших времен» С. Соловьева) // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. Днепропетровск, 1979. Вып. 7.

117. *Колюпанов Н.Н.* Биография А.И. Кошелева. М., 1892. Т. 2.
118. *Комарович В.Л.* Аполлон Григорьев: Достоевский и школа сентиментального натурализма // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. М., 1936. Т. 1.
119. *Корнилов А.А.* Общественное движение при Александре II. М., 1909.
120. *Котляревский Н.А.* Мировая скорбь. СПб. 1910.
121. *Крапоткин П.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907.
122. *Круковский А.* Забытые критики (А. Дружинин и А. Григорьев) // Русский филологический вестник. 1916. № 1, 2.
123. *Крылов С.* Памяти А.А. Григорьева // Московские ведомости. 1889. № 265.
124. *Кудасова В.В.* А. Блок и А. Григорьев (творческие параллели) // Ленинградский педагогический институт. Герценовские чтения, 27. Л., 1975.
125. *Кудасова В.В.* Поэзия А. Григорьева и русская поэзия 40-х – 50-х годов XIX века // Лирическая и эпическая поэзия XIX века. Л., 1976.
126. *Кудасова В.В.* Поэма А. Григорьева «Вверх по Волге» в контексте его творческих исканий // Проблемы творческого метода и художественной структуры произведений русской и зарубежной литературы. Владимир, 1990.
127. *Кудасова В.В.* Проза А. Григорьева 1840-х годов XIX века // Ленинградский педагогический институт. Герценовские чтения, 29. Л., 1977.
128. *Лейкина Н.Н.* О «почвенничестве» // Звезда. 1929. № 6.
129. *Лернер Н.* А.А. Григорьев // История русской литературы. М., 1912. Т. 2.
130. Литература и жизнь // Русская мысль. 1889. № 10.
131. *Лурье С.В.* Славянофильство, западничество и русская культурная традиция в философии истории А. Григорьева // Труды Ленинградского института культуры. Л., 1989. Т. 131.
132. *Маневич Г.И.* Друзьям издалека, или письма странствующего русского Гамлета. М., 1993.
133. *Марчик А.* «Органическая критика» А. Григорьева // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966. Т. 26. Вып. 6.
134. *Марчик А.* Историко-литературная концепция А. Григорьева // Ученые записки Московского педагогического института. 1968. Вып. 288.
135. *Марчик А.* Литературно-критические взгляды А.А. Григорьева. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1967.
136. *Марчик А.* Творчество Островского в оценке А. Григорьева // Наследие А.Н. Островского и советская культура. М., 1974.
137. *Марчик А.П.* А. Григорьев о М. Лермонтове // Ученые записки Московского педагогического института. М., 1966. Т. 248

138. *Марчик А.П.* Основные творческие вопросы эстетики А. Григорьева // Ученые записки Смоленского педагогического института. Смоленск, 1971. Вып. 27.
139. *Марчик А.П.* Поэзия Н. Некрасова в оценке А. Григорьева // Ученые записки Московского педагогического института. М., 1967. Т. 256.
140. *Мельгунов С. А.* Григорьев и «Современник» // Голос минувшего. 1922. № 1.
141. *Михайлов Д.* Философия искусства А. Григорьева // Московские ведомости. 1899. № 264.
142. *Михайлов Д.Н.* Аполлон Григорьев: жизнь в связи с характером литературной деятельности. СПб., 1900.
143. *Михно Н.В.* А.А. Григорьев // Русская сцена. 1864. № 9.
144. *Милюков П.Н.* Из истории русской интеллигенции. СПб. 1903.
145. *Морозов П.* Из жизни и литературы. По поводу двух литературных поминок. А.А. Григорьев // Образование. 1899. № 11.
146. На могиле Аполлона Григорьева // Новое время. 1889. № 4877.
147. *Негорев Н. А.* Григорьев и его взгляды на искусство // Театр и искусство. 1914. № 39.
148. *Незеленов А.* Островский в его произведениях. СПб. 1888.
149. Некролог. А.А. Григорьев // Отечественные записки. 1864. № 9.
150. *Нелидов.* Островский в кружке «Молодого Москвитянина» // Русская мысль. 1900. № 3.
151. *Николаев Ю.* А.А. Григорьев // Московские ведомости. 1894. № 266.
152. *Носков Н.* Талантливый неудачник // Пробуждение. 1914. № 17.
153. *Носов С.Н.* А. Григорьев об «Истории России» С. Соловьева // История и историки. М., 1985.
154. *Носов С.Н.* Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М., 1990.
155. *Носов С.Н.* Письма А. Григорьева как источник по истории славянофильства // Вспомогательные исторические дисциплины. 1981. Т. XII.
156. *Носов С.Н.* Проблема личности в мировоззрении Григорьева и Достоевского // Ф.М. Достоевский: материалы и исследования. Л., 1988. Вып. 8.
157. *Осват А.Л.* Заметки о почвенничестве // Ф.М. Достоевский: материалы и исследования. М., 1979. Вып. 4.
158. *Осват А.Л.* К изучению почвенничества // Ф.М. Достоевский: материалы и исследования. Л., 1988. Вып. 8.
159. Очерки по истории русской критики. М., 1929. Т. 1.
160. *П.К.* Памяти Аполлона Григорьева // Вечернее время. 1914. № 888.
161. Памяти Аполлона Григорьева // Новости. 1889. № 264.
162. Памяти Аполлона Григорьева // Правительственный вестник. 1894. № 209.
163. *Пиш Б.* Трагический одиночка // Новый журнал для всех. 1914. № 4.
164. *П-ль О.* А.А. Григорьев // Север. 1889. № 89.
165. *П-ль О.* Заброшенная могила // Новое время. 1889. № 4738.

166. Пономарева Г.М. «Книги отражений» И. Анненского и критика А. Григорьева // Иннокентий Анненский и русская культура XX века. СПб., 1996.
167. Прокопович-Антонский А. Гора учения // Утренняя заря. М., 1808. Кн.6.
168. Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1.
169. 50-летие смерти А.А. Григорьева // Биржевые ведомости. 1914. № 14394.
170. Раков В.К. К характеристике «органической критики» А. Григорьева // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1976. № 6.
171. Раков В.К. Теоретическая мифология А. Григорьева и симптомы ее разложения // Русская критика и историко-литературный процесс. Куйбышев. 1983.
172. Раков В.П. А. Григорьев – литературный критик. Иваново, 1980.
173. Революционная ситуация в России в 1859 – 1861 годах. М., 1976.
174. Розанов В.В. К 50-летию кончины А.А. Григорьева // Новое время. 1914. № 13844.
175. Розанов В.В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т.1.
176. Розанов В.В. Три момента в истории русской критики // Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989.
177. Розанова Л.А. О месте цикла «Дневник любви и молитвы» в творческом наследии Ап. Григорьева // Вопросы русской литературы. Львов, 1962. Вып. 1.
178. Романова Г.И. «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева в оценке А. Григорьева // Вестник МГУ. 1983. Серия 9. № 4.
179. Росси Л. Аполлон Григорьев: биография в культурологическом // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1989. № 5.
180. Рубинштейн Н.Л. Аполлон Григорьев (характеристика творчества) // Литература и марксизм. 1929. №2.
181. Русов Н.Н. А. Григорьев в начале своей литературной деятельности // Григорьев А. Человек будущего. М., 1916.
182. Русская летопись // Новости. 1889. № 265.
183. Саводник В.Ф. Аполлон Григорьев. Биографический очерк. М., 1915.
184. Сакулин П.Н. Вопрос о социализме Ап. Григорьева // Русская литература и социализм. М., 1924. Ч.1.
185. Сакулин П.Н. Историко-литературные беседы. Органическое мировосприятие // Вестник Европы. 1915. № 6.
186. Селитренникова В. Ап. Григорьев и Митя Карамазов // Филологические науки. 1969. № 1.
187. Серман И.З. Ф. Достоевский и А. Григорьев // Достоевский и его время. Л., 1971.
188. Скабичевский А. Очерки литературного движения // Русская мысль. 1888. № 5.
189. Славянофильство и современность. Л., 1994.

190. *Сладкевич Н.Г.* Борьба общественных течений в русской публицистике в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века. Л., 1979.
191. *Спиридонов В.* Аполлон Григорьев // Современник. 1914. № 10.
192. *Спиридонов В.* Аполлон Григорьев и национальный вопрос // День. 1914. № 260.
193. *Спиридонов В.* Тарас Шевченко и национальный вопрос в понимании А. Григорьева // Вятская речь. 1914. 25, 26 февраля.
194. *Спиридонов В.С.* А. Островский в оценке Григорьева // Ежегодник петроградских государственных театров. Пг., 1920.
195. *Спиридонов В.С.* Биографический очерк жизни А. Григорьева // Григорьев А.А. Полное собрание сочинений и писем. Пг., 1918. Т. 1.
196. *Стадников Г.В.* Ап. Григорьев о поэтическом мире Г. Гейне // Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. Иркутск, 1980.
197. *Страхов Н.* Поминки по Аполлоне Григорьеве // Новое время. 1889. № 4876.
198. *Сухотин П.* Аполлон Григорьев // Григорьев А. Мои литературные и нравственные скитальчества. М., 1915.
199. *Тихомиров В.В.* А.А. Григорьев: путь к Пушкину // Современное прочтение Пушкина. Иваново, 1993.
200. *Тодд У.* Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб., 1996.
201. *Туниманов А.Г.* А. Григорьев в письмах и «Дневнике писателя» Достоевского // Ф.М. Достоевский: материалы и исследования. Л., 1987. Вып. 7.
202. *Ухалов Е.С.* Загадочная маска. Кого пародирует Добролюбов в цикле Аполлона Капелькина? // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. М., 1948. Вып. 6.
203. *Филиппов Г.В.* М. Лермонтов и А. Григорьев // Ученые записки Ленинградского педагогического института. Л., 1966. Т. 248.
204. *Философия Шеллинга в России.* СПб., 1998.
205. *Фридлиндер Г.М.* У истоков «почвенничества» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1971. № 5.
206. *Ходанович М.А.* Основные понятия философской концепции А. Григорьева // Социальная философия в XIX веке в России. М., 1985.
207. *Целиков В.К.* Достоевский, Григорьев о единстве нравственных и эстетических ценностей // Современная цивилизация и моральные ценности. М., 1982.
208. *Целиков В.К.* Принцип народности в искусстве в трудах славянофилов и почвенников. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1982.
209. *Черная Т.К.* Борьба вокруг традиций критики Белинского в 1860-е годы (Писарев и Григорьев) // Русская классическая литература и идеологическая борьба. Ставрополь, 1985.
210. *Чествование 25-летней годовщины смерти А.А. Григорьева* // Исторический вестник. 1889. № 11.

211. *Чижевский Д.И.* Гегель в России. Париж, 1939.
212. *Шах-Парониани Н.В.* Критик-самобытник. СПб. 1899.
213. *Шихалиева Н.М.* А. Григорьев и Ф. Достоевский о романе «Дворянское гнездо» // Жанр романа в классической и современной литературе. Махачкала, 1983.
214. *Шишкова Э.Е.* Московский университетский благородный пансион // Вестник МГУ. 1979. Серия 9. № 6.
215. *Штейнгольд А.М.* А.Григорьев о Н.Некрасове // Влияние творчества Н. Некрасова на русскую поэзию. М., 1978.
216. *Эн. Неистовый Аполлон* // Русские ведомости. 1914. № 220.
217. *Юдин П.* К биографии А.А. Григорьева // Исторический вестник. 1894. № 12.
218. *Языков Н.* Пророк славянофильского идеализма // Дело. 1876. № 9.

219. *Dowler W.* Dostoevsky, Grigor'ev and native soil conservatism. Toronto, 1982.
220. *Lehmann J.* Der Einfluss der Philosophie des deutschen Idealismus in der russischen Literaturkritik des XIX Jahrhunderts: Die "organische Kritik" Ap. A. Grigor'evs. Heidelberg, 1975.
221. *Terras V.* A. Grigor'ev organic criticism and its western sources // Western philosophical systems in Russian literature. Los Angeles, 1974.
222. *Walicki A.* The Slavophile controversy. Indiana, 1989.